

Бор. ПИЛЬНЯК

Том II

ПОВЕСТИ

ИЗДАНИЕ АВТОРА
Никола-на-Посадьях

Право перевода закреплено за автором.

По всем делам, связанным с названным правом, следует обращаться к автору по адресу: Коломна, Московской улб., Никола-на-Посадьях, Б. А. Пильняку.

Бор. ПИЛЬНЯК

Том II

ПОВЕСТИ

ИЗДАНИЕ АВТОРА
НИКОЛА-на-ПОСАДЬЯХ

Под редакцией

И мот

Отпеч. в колич. 5000 экз.
в типографии Госиздата
Москва, Пятницкая, 71.

Издание выпущено
под общим наблюдением
Д. К. Богомильского

ПОВЕСТИ

Главлит. № 15531.

ПРИ ДВЕРЯХ

Когда-то в Красной горе Сибирской
Жил старик-богатырь Федор Ильинич.
Он был крепок, как скала, и сильен, как лев.
Сама природа боялась его, и звери не смели
входить в его избушку, потому что старик
был страшно злой и грозный. Но однажды
он умер, и вдруг в избушке началася
жуткая паника. Животные бежали из избы,
а в избушке осталась одна старая кошка.
Она сидела на печи и плакала, и плакала
и плакала, и плакала, и плакала.

ПОБЕГИ

ХР93ВД Н9П

желания А. Барыкин, генералом тщетной надежды и
под энтузиазмом заслужил звание «Лицемерный
девяносто-шестилетний и «покорно-запуганный» единоличник
Богдана, или «демон энтузиазма», такого же мажущего
вздоха, как и вспоминаемого выше Петра, и антического
бога Альбиона, отвратившегося от земного бытия
и растворившегося в бесконечности небес.

Так, когда вы увидите все сие,
вспомни Матфея и знайте, что близко, при дверях.

Матф. Гл. 2, 33.

Глава I.

В иные времена купчиха Ольга Николаевна Жмухина поставила под Сибириной Горой водокачку; водокачку зовут кратко—Ольга Николаевна. Воды Ольга Николаевна уже не подает, но гудит по-прежнему, в восемь, в два, в четыре,—гудит под Сибириной Горой,—а на другом конце города чиновник Иван Петрович Бекеш, просыпаясь утрами под гуд Ольги Николаевны, в полусне, чует ту прекрасную необыкновенную грусть-боль, которая уже одна говорит, как прекрасна человеческая жизнь, как прекрасны человеческие весны. Иван Петрович был однажды—два дня—на Волге, и ему кажется, что Ольга Николаевна гудит, как „Кавказ и Меркурий“,—кто не знает, как сладчайшая грусть щемит веснами Волгу и как алоей холодной весенней зарей хочется тогда обнять мир? Иван Петрович пьет морковный чай и идет на службу в финансовый свой отдел. Жизнь Ивана Петровича скучна.

Ольга Николаевна расположилась под Сибириной Горой. На Сибириной Горе, за валом, около кремлевских ворот, помещается клуб,—раньше был общественный, теперь коммунистический. В два гудит Ольга Николаевна,

и в два приходит позавтракать доктор Андрей Андреевич Веральский. Раньше перед его приходом буфетчик говорил мальчику: „мальчик, освежи“—и мальчик освежал языком своим икорные бутерброды, прежде чем подать их доктору с лафитником водки. Теперь подают доктору пустой лафитник, и доктор уже сам наполняет его из жилетного кармана, из соответствующего пузырька. Но по-прежнему, после завтрака, доктор кричит через форточку и через улицу себе во двор:

— Илья, подавай,—и едет по пациентам, подпирая желудок своею тростью.—

Рождество.

Прошел кто-то, некий сноб, и распорядился, чтобы все люди чувствовали торжество, прятали свою нищету, отказались на неделю от мелочей и мыслей, чтобы острее чувствовать — заштопанные — и нищету, и убожество, и тоску, и обыденщину. Впрочем, радость человеческая — всегда радость и всегда благословенна. Рождество.

В четыре, ради Рождства, Ольга Николаевна не гудит. Подлинная же Ольга Николаевна, купчиха Жмухина, умерла два Рождества назад, в испуге, когда реквизировали у нее копченых гусей и меха.—На стенах в клубе висят рукописные афиши. Буфетчик знает, что оркестр кавалерийского дивизиона в сочельник играет у военкома на балу, на рождении его жены, первый и четвертый дни — в клубе,—что под старое новогодье военспецы дивизиона устраивают загородную поездку. В сочельник все ходили к Иоанну Богослову, смотреть нового церковного старосту — командира дивизиона товарища Танатара: товарищ Танатар, красавец-кабардинец, в кожаной куртке и в сапогах со шпорами, продавал свечи и ходил с тарелкой. Люди режут кур, меняют рубашки на масло, без сахара

на сахарной свекле пекут сладкие пироги,—и за неделю до праздников опустели аптеки.

И мороз, и метель.

В каменном доме Веральского, глухом, как ларь, на Сибриной Горе, жить можно в двух комнатах, ибо в остальных мороз и иней. И первый день, первую ночь Ольга слушала, как идет мороз: мороз подлинно шел, треща и звеня морозными алмазами, ночь была синей и колкой, как стекло, и луна казалась заброшенной случайно. Ольга в шубе,—как всегда в шубе,—стояла у форточки и слушала: шел мороз, треща то там, то тут, то в пустой гостиной, и шаги прохожих скрипели на много переулков. А утро пришло — восковое, воздух в морозном солнце был желтым, как воск, — желтым, как воск, было солнце, — как лицо мертвца. Термометр упал до тридцати двух — Илья говорит, что с воздуха падают птицы. И утром промчал в шинели в накидку товарищ Танатар. А вечером звонил кто-то по телефону и сказал, что с Урала идет буран, и к ночи метель пришла.—О буране и о телефоне: знаете, предреченнное скучно уже,—так говорят:—кто-то по телефону сказал, что идет буран с температурой минус тридцать. Ольге стало на несколько минут необыкновенно хорошо,—метельно, когда кружится, гудит и поет все... Все же, должно быть, есть ведьмовское наваждение, ибо — на что же похожи снежные эти метельные космы, как не на ведьмовские? Мчалась, плясала, выла, стонала, кричала метель — над полями, над городом, над Сибриной Горой, в пустой гостиной. Было бело, бело, бело. Снежные космы стали сплошными дыбами, в них опускались, поднимались, качались — дома, переулки, деревья. Над домом, в доме пело, стонало, кричало, и в доме можно было быть только в углу у печки. Ольга думала, что революция — как метель, и люди в ней, как метленки. Ольга

думала, что она умерла от метелей. Ольга была в шубе и в валенках, и—как много уже дней—жалась к печи, уже устав думать и устав читать.

И в метель Ольга читала дневник Ивана Петровича Бекеша.

Перед Ольгой было пять лампад. Диван стоял корытцем—сиденьем к печке,—диван был завален меховыми шубами. Поблескивали тускло изразцы. А за стеной, в пустых комнатах гудела метель.

11 июля 1913 года.

„Балъ... у Ольгѣ Николаевной Жмухиной.

Разгримировавшись, отправились вмѣстѣ съ... Волынской въ домъ. Тамъ пиръ горой. Старики и пожилые люди заняли двѣ комнатки, а наши господа—отдѣльно изолированную отъ постороннихъ взглядовъ. Самуиль Танатаръ посадилъ меня рядомъ, а Волынская напротивъ. Только что сѣлъ за столъ и выпилъ рюмку простого—Волынская лезеть съ просьбой „не пить много“... Она дала мнѣ слово провести вечеръ и итти ее провожать, только если я не напьюсь. Не прошло и полчаса—пошли вдурь, стали кричать: „подавай вина“, начались пѣсни, громъ, гамъ, битье посуды... Организмъ начинаетъ просить немного пить меныше... Самъ начинаю уже пьянѣть... Чтобы не напиться, подхожу къ Волынской:—„Ну, какъ, домой иду провожать я васъ или Танатаръ?“—она въ это время сѣла съ нимъ и говорила насчетъ проводовъ.—„Не знаю,—и добавила:—Вы вѣдь, Ваня, пьяны“... Отвѣтивъ на ея слова „хорошо!“, самъ пошелъ въ другую комнату, тамъ сидѣлъ докторъ Веральскій, отецъ моей любимой Оли; увидя меня, онъ посадилъ и молча угостили чѣм-то изъ стакана. Я на зло Волынской выпилъ—и тутъ же опьянѣлъ. Меня товарищи отвели въ садъ, гдѣ угостили „сельтерской“ и разошлись. Я усѣлся на лавку и долго плакаль,

зачѣмъ я такъ здорово напился, и вспоминаль объ Оль Ве-
ральской, которую одну люблю... Зачѣмъ я такъ напился,
я отравилъ себѣ весь вечеръ,—все—все. Одному побыть
долго не пришлось:—пришла Волынская, усѣлась около
меня, обняла и начала читать нравоучительная морали: „не
надо пить вина такъ много“... Не теряя своего правиль-
наго разсудка, говорю:—„я не виноватъ—во всемъ вино-
вень Самуиль, я слышалъ, какъ вы уговаривались итти
проводить. И вотъ, услышавъ и доказавъ все, теперь я
сижу вдрызгъ пьяный; что хотѣли мы совершить—нельзя
теперь, потому что пьянъ“... Она крѣпко прижалась ко
мнѣ, обняла; я цѣловалъ ея руки, твердя: „простите меня,
простите“, и умолялъ ее, чтобы она не уходила отъ меня,
прибавляя: „я знаю, что мы видимся послѣдний разъ“—
при этихъ словахъ я рвался отъ нея и отъ Танатара (по-
слѣдний находился все время съ нами)... Она меня не пу-
скала, но я убѣжалъ... Танатаръ поймалъ меня, усадилъ опять
рядомъ съ ней. Она обняла меня крѣпко и проговорила:—
„Ваня, если ты меня любишь, то не сдѣлаешь надъ
собой самоубийства“... И, бурно схвативъ меня крѣпче въ
свои объятія, впилась губами въ мои губы... и замерла...
Столько было въ этомъ поцѣлуѣ участія, отчаянія, из-
ступленія, страсти и такая беззавѣтная любовь... минута
проходила за минутой, и каждая была вѣчностью, и ка-
ждая была полна воспоминаніями (объ Оль Ве-
ральской)... Да!.. этимъ поцѣлуемъ она дала мнѣ дивную иллюзію сча-
стья, только иллюзію... но все же счастья!.. Съ уходомъ
отъ меня Волынской (пошла танцевать), увидя Танатара,
гналъ его отъ себя, крича въ лицо: „негодяй, подлецъ!
Ты разбилъ мое счастье!“... При этихъ словахъ даже запла-
калъ. „Я съ вами больше не знакомъ“... Танатаръ по-
мочилъ мнѣ голову, угостиль „сельтерской“, послѣ приема
которой меня стошило. Ребята рѣшили воедино уложить
меня спать. Но нѣть! чорта лысаго! я ни съ кѣмъ не же-

лаль итти, кромъ Волынской... Она проводила подъ руку (самъ не могъ) до постели... и собиралась уходить—но не тутъ-то было. Я держалъ ее и распѣвалъ:

Не уходи, побудь со мною,
Мнѣ такъ отрадно и легко.

Передъ глазами стояла она — я видѣлъ прекрасную пикантную фигуру—и видѣлъ густые, отливающіе золотомъ волосы (шиньона)—блѣлые, какъ снѣгъ, зубы за яркими чувственными губами... и меня пронизывалъ электрическій токъ... Да. Счастье было такъ близко, такъ близко (до-сталось Танатару)... О, счастье!..“

12 июля 1913 г.

„Пронснулся въ первомъ часу дня и прямо изъ товарищѣй лицезрѣль Васю Федорова. Интересно, какъ онъ спалъ—голова на подушкѣ, а все туловище на грязномъ полу. Заглянули въ зеркало—и, Боже! отскочили колбасами отъ него. Мой костюмъ весь измялся—въ нѣкоторыхъ мѣстахъ былъ обтошненъ—былъ весь покрытъ пухомъ отъ перины. Исполнивъ утренній обрядъ, пошли въ садъ. Тамъ встрѣтили Танатара—проходилъ мимо нась, молча, изъ глубины сада—скорѣе всего тамъ спалъ. Видъ его внушалъ ужасъ: передъ обтошненъ, задъ и спина выпачканы землей, точно его таскали за ноги. Послѣ Танатара встрѣтились со всѣми дѣвицами—онѣ шли изъ бесѣдки, гдѣ спали. Постепенно, но всѣ собрались. И, Боже, сколько было смѣху! Первымъ разсказывалъ лунатикъ Федоровъ — не стоя на ногахъ, заявилъ въ бесѣдку, гдѣ только-что улеглись дѣвицы послѣ бала, желаетъ всѣмъ покойной ночи—береть первое попавшее платье, кофточку и шляпу, надѣваетъ и вздумаль плясать. Одинъ малознакомый ма-лецъ весь ужинъ и половину бала просидѣлъ съ хозяюшкой Ольгой Nikolaevной въ фаэтонѣ на дворѣ, куда имъ

носили офиціанты ужинъ и вино; все это сопровождалось поцѣлуями и трепикантными разговорами. Дѣвицы рассказывали: не успѣли раздѣться всѣ—вваливается вдрѣзъ пьяный Самка Танатаръ и заявляетъ, что онъ пришелъ съ ними спать. Дѣвицы, конечно, всѣ перепугались и попрятались подъ одѣяла. На ихъ умоленія, просьбы и приказанія очистить своимъ присутствіемъ бесѣдку—остался холодень и безобразенъ... Тогда дѣвицы, не обращая вниманія на стыдъ, вскочивъ съ постели, ухватили его и вытолкали изъ бесѣдки... Сейчасъ же за Танатаромъ пришелъ лунатикъ Федоровъ, за чѣмъ было много смѣху, потому что онъ былъ миль и не безобразничалъ, какъ Танатаръ“.—

Счастье. Счастье и смѣх!..

Где-то отъ детства затерялась нянинна сказка, метельную косму—снежную метельную воронку—рассечь острымъ ножом,—убьешь метелину внуучку, метелинку: капнет капля холодной белой метелинки крови, и метелинкина кровь принесетъ счастье... Надо верить—надо выйти въ метель, надо подстеречь метельную метелинку, что кружится беззаботно въ беломъ хороводе—тогда будетъ счастье.

— Ну, а если ни во что не верить?

— Счастье! Счастье!

И Ольга знаетъ: она—снежная эта метелинка. Это ее убили.—Мечется, мчится метель: о ней говорили вчера въ телефон. На диванѣ лежатъ меховые шубы. Горятъ пять лампад, поблескиваютъ изразцы. Храпитъ докторъ Веральский. Дневникъ упалъ на колени, слезы упали на колени... Это о немъ. Голова упала на руки.

Ну, а если ни во что не верить? Если, какъ метелинку,—убили?—не печь же пироги безъ сахара на сахарной свекле, какъ советовалъ докторъ, пусть это было бы ра-

достно отцу... Нет—не убили, а—убил. Стихия не мыслит, в стихии нет зла. Жизнь Ольги Веральской была очень проста: гимназия, курсы, красный фронт,—где ни поймешь, ни осудишь,—и он, этот... Темная штабная теплушка, запах лошадей, тусклый фонарь на стене, голова лошади и—его голова, черная, как смола, черная борода, черные брови, черные глаза, красные губы,—боль, боль, и ужас, ужас, ужас и мерзость. И все.

Дневник упал на колени, слезы упали на колени. Горят лампады,—глаза, как фонари в осенний дождь. Голова упала на руки—тяжело, больно.

Телефонный звонок.

— Да?

— Доктор Федоров.

— Ну, а если ни во что не верить? Нет, нельзя жить. Ведь одно мещанство. И когда — срок? Нет, сказок нет!

...Рождество.

...Пироги. Пироги с бараниной, на бараньем сале. Конфеты из тыквы. И—пельмени.

...Бал.—Бал-маскарад, на четвертый день.

— Ольга, Ольга Андреевна. Мне очень больно, я очень люблю вас... не надо грустить... Олеся... Что же, живем за счет всяческих углеводов. Нет, не то, Олеся, Олеся, надо бодриться. Очень пусто...

Танатар?—Не надо, не надо, не надо!

— Нет, Вася. Что же... Все, что со мной—это называется неврастенией, должно быть. И все же тоскливо быть в поношенном платье, в скошенных ботинках, стыдиться их и быть радостным от фунта баранины. Ничего нет.

Ольга склонила голову; гребенка Ольги сплита нитками очень тщательно, чтобы было незаметно, совсем незаметно и по-прежнему красиво.

Доктор Веральский, Андрей Андреевич, в валенках и в шубе, позевывая, вышел из своей комнаты и пролез к печке.

— Там, Олеся, я барабанишки привез. Поджарить, полакомиться бы—или на суп?.. Сказала бы Илья.

— Папа, Ольга Николаевна Жмухина умерла—отчего?..

— От разрыва сердца. Испугалась, когда делали обыск. Нашли под кроватью мертвой... А—что?

— Кто она такая была?

— Как человек?..—Так, развратная бабенка... Но жертвовательница... Так скажи же—поджарить.

Доктор Андрей Андреевич зевнул сладко.

Глава II.

Под сочельник по городу подосланный человек разносил следующее объявление:

Мм. Гг.

Если вы только жилаете получить следующие товары, как-то:

сахар раф.	1000	р. ф.
сахар песок	800	" "
баранина	450	" "
свинина	700	" "
мясо черкасск.	250	" "
мясо русск.	225	" "
мясо конское	100	" "

Просим не смешивать с пущниками.
то сообщите, чего и сколько вы жилаете, нашему подосланному человеку в 6 час. ст. вр., и все указанные предметы будут вам немедленно представлены. Задатка никакого не надо, полагаемся на ваше благородство.

Доброжелатели...

Сочельник...

В сочельник должна подняться большая, четкая рождественская звезда, которая скует всех воедино,—и никакой звезды не поднимается. Маменька доктора Федорова печет пироги, и маменька счастлива, ибо вечером будет звезда и будут пельмени,—потому что совсем не будет картошки и—самое главное—потому, что Вася—один, единственный сын, одно, что есть у нее. И будут—и салфетки, и скатерть, и керосин, и сладкое, и пельмени,—пельмени, как ни у кого в городе.

Рядом с счастьем—величайшее горе: это было у матери. Рядом с горем—величайшее счастье: это было у доктора Федорова. Доктор колол дрова и растапливал печь для матери—и сердце его щемилось, щемилось величайшей нежностью, величайшей любовью—к матери. Мама, мама, мамочка,—в фартуке, старенькая, с тревогой, горем и радостью—за пельмени, за сладкий пирог и пирог на бараньем сале.

В сочельник же был бал у военкома,—были оркестр, лакеи, гуси, свинина, коньяк, кавалерийская жонка, печене, пироги, конфеты, живые картины, фанты, шарады, почта амура и речи,—было объединение третьего элемента, сиречь интеллигенции, с представителями Российской Коммунистической Партии.

И ничего не было в сочельник у Ивана Петровича Бекеша, ибо если одни умели и могли в голодном городе достать съедобное, то Иван Петрович—не умел и не мог только желать, и должен был есть только картошку, рассчитанную так, чтобы умереть к весне—с матерью, с крестной, женой и ребенком,—и с гнилой картошкой, разведенной до пятнадцатого июля включительно.

В сочельник в сумерки к Ивану Петровичу Бекешу заходили доктор Федоров и писатель Яков Камынин,—шли переулочками, глухо озаборенными, в скрипучем

снеге, в синих сумерках и в красной заплате запада,—по окраине, где дома замело, с крышами и где лежат уже пустые поля. В сочельник Иван Петрович Бекеш играл с женой, матерью и крестной в двадцать одно и принял гостей в своем кабинете, где были двухспальная кровать, японский веер и стол с открытками, расставленными в симметрии щательной. Камынин почти касался потолка и сел в шапке за стол. Иван Петрович знал, зачем пришли доктор и писатель, и все же спросил:

- Какими судьбами?! Сколько зим, сколько лет!..
- Пешком,— ответил Камынин.—Да.
- Хм! хе-хе-хе!.. конечно...
- Закуривайте. Махорка крепкая. Как—да—поживаете?
- Хм!.. наше дело маленько. Живем, хлеб жуем... да нет, собственно,—хлеба, собственно, нет... так, кое-как...
- Помолчали. Закурили. Позатянулись.
- Мы насчет дневников пришли.
- Ах, насчет дневников! Пожалуйста!.. я от своих слов не отказываюсь!.. только...
- Значит, продаете.
- Я от своих слов не отказываюсь... только... только к чему они вам?.. так пустяки...
- Мне они нужны,—сказал Камынин и затянулся.
- „Оле. Оле Веральской, милая, милая“—это Федоров, больно и остро.
- Конечно, как писателю... материал...
- Да. Материал.
- А позвольте спросить, Яков Сергеевич, что вас там заинтересовало?
- Ну, уж,—знаете... Многое. Да.
- Роман напишете?
- Ну, уж этого не знаю. Да.
- Помолчали.
- Ну, так...

— Ах!.. Только, знаете ли, я не могу, за ту цену...
— За какую?
— Как уговорились. Я, ведь, продаю, как писателю, а другому бы ни за что...

— Другой бы и не купил. Разве на обертку.
— Верно! Совершенно верно!.. Только не забудьте, что это ведь душа моя. Тут вся моя жизнь...

— Да.
— А вы хотите за тысячу рублей!
— Тысячу вы сами назначили.
— Нет. Я ошибся тогда. За тысячу я не могу.

Доктор Федоров приметил, что руки Ивана Петровича задрожали, что лоб его побледнел. Иван Петрович сидел неестественно-прямо, дергаясь, как на шарнирах. И было в его подергиваниях и в капельках пота на лбу—очень гаденькое, подхалимствующе-резонное. Яков Камынин, написавший пятнадцать книг, похожий на Дон-Кихота, сидел, расставив костлявые свои ноги, в шапке, скучливо покуривая, говорил, не спеша, тоже скучливо.— „Оленька, Оленька! Милая, необыкновенная!“. И сердце Федорова защемило любовью и болью.

— Ну, а вы дневники покажите.

Иван Петрович дернулся, чтобы встать и достать, но остался на месте.

— Ей-богу, Яков Сергеевич, не знаю, где они... В чулане, кажется,—потом часть у вас... Оставим это. Давайте поговорим еще о чем-нибудь.

— Да, нет уже. Давайте кончим, что ли...

— Ну, сейчас, поищу.—Иван Петрович подлез под стол и достал связку тетрадей.

„А, ведь, это что-то очень мерзкое. Очень мерзкое, Ну, а если ни во что не верить!?.“—доктор Федоров больно опустил глаза вниз. Камынин свернул новую цигарку, стал развязывать связку.

— Закутивайте! Махорка крепкая... Ну, так сколько?
— Тут и стихи мои есть...
— Да. Так сколько?
— Ах, цену-то?.. Ей-богу, я не продаю!.. уж и не знаю, сколько...

„Боль. Боль. Человеческая нищета. Ну, а если ни во что не верить?.. Ольга ни во что не верит,—а гребенка, а гребенка у нее сшита защитными нитками тщательно, чтобы никто не заметил. А дома мама—мама. Мама варит пельмени, старенькая, в стареньком фартучке, и пенснэ у мамы склеено сургучом... пельмени, как ни у кого в городе,—для него, для доктора Федорова. Дневник же—для Оли Веральской“...

— Слушайте, уже поздно! у меня голова болит. Кончайте скорее,—это доктор.

Иван Петрович, вслед за Камыниным, следил за перелистываемыми страницами, и вдруг в лице Ивана Петровича появилось нежное, милое, ясное.

— Хорошо. Уступлю, Яков Сергеевич!.. Только оставьте мне эту тетрадку, она маленькая... Тут у меня описана любовь к Оле Веральской, и ее заметки, воспоминание дорогое. Первая любовь... Вам что?—мне, главное, ее заметки, она карандашом приписывала... Оставьте!..

— Что же, оставлю,—это Камынин.
— Нет, и его, и его!—это доктор, очень больно.
— Оставьте, доктор, мелочи,—это Камынин.
— Вася, ведь ты товарищ детства, оставь... уступи...—это Бекеш.

— Или... Ну, хорошо! Все равно, все равно! Очень больно...—Это Федоров,—хорошо!..

— Душа ведь. И так дешево,—это Бекеш.

И опять шли,—молча—переулочками в глухих заборах, в снегах, в синих сумерках, лишь иконостас запада по-

мерк и сумерки вколачивали в небесную твердь шляпки звездных рождественных гвоздей. Повстречалась женщина в шали, красивая, с расписным коромыслом и с ведрами. Яков Сергеевич долго наблюдал за ней, затем остановился, расставив длинные свои ноги, одновременно похожий и на Дон-Кихота, и на большие ножницы—и сказал:

— Закуривайте... И во всякой боли есть красота. Какая красивая женщина, да... я, знаете ли, достал три пуда рыбьего жира и картошку, и еще два года могу прожить для красоты. Мне надо писать книгу. Я написал пятнадцать книг, и каждую новую книгу я писал с новой женщиной. Жена, кажется, сошлась с Танатаром... Что же, в сущности, являет Ольга Андреевна Веральская,— она очень красива... Какая красивая женщина та, что с коромыслом.

— Это жена Бекеша,—сказал Федоров.

— Да? Но ведь Бекеш продает уже свои дневники, а у меня есть рыбий жир.

— Яков Сергеевич! как вам не страшно?

— Да? Но я должен же написать книгу.

Писатель Камынин не сказал, что, кроме жира и картошки, у него был еще денатурат. Жены Камынина не было дома. Дома, не раздеваясь и в шапке, Камынин варил картошку и чистил ее старинной испорченной саблей,—скорчив судорожно на сторону губы и скорчившись, выпил денатурата, выпил рыбьего жира, лег на диван и заснул, с лицом ясным и тихим, и с губами, по-прежнему судорожно скроченными.

А у доктора Федорова были пельмени. Были—пирог, салфетки, большая лампа, а мама говорила, волнуясь и суматошась:

— Кушай, Васенька, ешь, родной, еще возьми, милый мой мальчик.

Доктор Федоров ел вкусное, но пельменей не оказалось столько, чтобы быть сытым, а мама не успела к празднику причесаться и снять фартучек...

И все же над землей шел праздник, в коем чертовщина наплясывает последнее свое наваждение — перед весной, перед солнцем, перед радостью...

Доктору Федорову принесли пакет:

Совет

Раб. и кр. деп.

дер. Поповки.

Удостоверение.

Дано гр. беженцу дер. Поповки Антону Юсофато Панащюки дано в том, что он желает прививку оспы, чтобы на дороги не захватить холеры и матери Анны Павловны Панащюки тоже желает что в городе, что и удостоверяет сельский совет.

Председатель *И. Птицын.*

Печать.

А вот—из записной книжки писателя:

Поздно ночью, тоскуя, в метель, мать заходит к своему ребенку, мальчик спит, мать роется в карманах его штанишек, перебирает бесконечные веревочки, гайки, гвоздики, катушки — и плачет.

Сверхшикарная дама из Астрахани, в порыве дарит любовнику перстень, а потом, спохватившись и убоясь нахлобучки от мужа, едет заявить в сыскное отделение.

Молебен о здравии коня Буцефала.

Глава III.

Как же рассказывать дальше?

На первый рождественский день люди надевают все нарядное, ходят в гости. И на первый, и на второй, и на третий, и на четвертый рождественские дни надо ложиться в четыре, радоваться, веселиться, устраивать „суарэ“, „файф-клекти“ и балы, ухаживать, обновляться,—и быть такими же, как всегда, мучиться так же, как всегда,—и не мучиться так же, как всегда. Первый день все были в коммунистическом клубе. Весь первый день разъезжал по городу, катая на тройках барышень, товарищ Танатар.

А ночью, под рождество Танатар, красавец-кабаринец Танатар в пустом отцовском доме, похожий на большую уставшую черную кошку,—пролежал у кивота. У кивота горели лампады, блестели серебром и мутью иконы. Товарищ Танатар лежал сжавшись, точно чтоб прыгнуть, и глаза его, черные, исподлобья, на сухом, черном лице, отражали, в безумье и муке, желтую муку лампад. В дверях появилась жена,—бледная, белая,—говорила бесшумно:

— Встань, Самуил!—и Танатар еще плотнее сжимался, прижался к полу, в смятеньи, в безумье и муке.

На фронте, в Заволжье, в известняках Танатар раздавил случайно сапогом черную ящерицу,—у ящерицы выползли кишечки и выскочили глаза, если бы жена видела ту ящерицу, она заметила бы, что глаза Самуила—в эту рождественскую ночь—похожи были на глаза ящерицы,—в тот степной день.

— Встань, Самуил!—жена бродила в ту ночь, белая, бледная, по черным комнатам от комнаты с кивотом до кухни, где вестовые гоготали весело и играли в три листика.

В коридоре чадил ночник, там валялись седла, сабли, винтовки, шинели, попоны и пахло лошадиным острым потом.

— Встань, Самуил!

И метель. Та метель, что сказала Ольге о метельной метельиной внучке,—все же, должно быть, есть ведьмовское наваждение! — В ту ночь трудно было бродить. Ветер срывался с крыш и кувыркался, кружась в неистовстве, мчался из разворованных пустырей и заборов, снег колыхался, как волны,—надо было не идти, а ползти—в муты снежной, в снежном вихре, в крике, стоне и вое,—в белом мраке, в смертных белых песнях.—И в тот вечер бродили трое,—по Сибирской Горе, около дома Андрея Андреевича Веральского. Танатар вышел из дома, и ему, должно быть, показалось, что белая ведьма—метель—ухватила его ледяными руками за шею. Шею Танатар вжал в плечи, выдвинулось вперед птичье его лицо с кривым носом,—и опятьказалось, что человек, как зверь, готов к прыжку. По пояс в снег, избродив переулки и улочки, Танатар стал у невидимого дома Веральских,—в двух шагах не было видно. Из-под горы, из полей шла метель, ломилась в дома, в улицы,—и как кричала!.. И из метели прямо на Танатара нашел человек.

В метельном вое потонуло:

— Кто это?..

— Начальник кавалерийского дивизиона. Доктор Федоров?—слова потонули в метели. Танатар сжался плотнее, и Федоров не узнал, прокричал ли то Танатар, простонала ль метель, его ль воспаленные мысли сложили:

— За Ольгой следит? Ольгу не дам! Ольга моя!.. Знаешь,—Танатара? Танатар убьет!

Они разошлись, но, спугнутые, встретились вновь и, встретившись, повстречали третьего:—у забора, в метели,

к забору прижавшись, стояла белая женщина. И, когда прошли мимо, Танатар прошептал на ухо Федорову, ясно и слабо, обдавая теплом:

— Это — жена. Моя жена. Бледная немочь. Всюду следит, все знает,—и молчит, и молчит. Белая кровь. Доктор Федоров, Вася!—э-эх, какая тоска!.. Вася, нечем же жить. А я ведь как зверь — некультурный, незнающий!.. А жена — та молчит и все знает... И она говорит:—человека надо любить, человека, последнего Ивана Бекеша любить надо... человека забыли!..

И, пройдя два переулка, повстречали — Бекеша. Иван Петрович стоял у тумбы, опирая на нее пудовичек, и, узнав знакомых, Иван Петрович крикнул радостно:

— Ох, напугали! Купил — разорился к празднику хлебца. Вот несу в темноте, чтобы не отняли...

И метель...

А в метель собирались все у писателя Якова Камынина, пили чай из глубоких тарелок, чистили картошку старинной саблей, посыпали за самогоном и под метель, под хлябанье выюшек, под крики метельные и гоготы — играли в железку. Всю ночь и весь следующий день писатель Яков Камынин и военспец Самуил Танатар простояли у круглого старинного стола, ибо сидя играть они не умели. Горели масленки, потом пришла серая муть, масленки потухли, пошел день. На столе были карты, тысячи, рюмки, тарелки, картошка, махорка. Танатар дважды посыпал вестового к жене, белой, бледной — за казенными тысячами. Другие, отходя от стола, ложились заснуть на диван, чтобы встать через час и снова итти к картам. Перед рассветом, в серой муте — исчезли из комнаты женщины, и вернулись к заполдням. В комнате было — как в головах игроков: комната застарела бессонницей, — как в головах, клубился дым цигарок, томил сивушный перегар; — и от истомленной

сосредоточенности отпечатывались в мозгу — и стол круглый, и ковровый диван с запахом пыли, и масленки — надежд, должно быть. В голове у писателя Якова Камынина было так же серо, как в дымной комнатке, — и чернее, много чернее было в черной голове военспеца Танатара. Доктор же Федоров давно уже спал на диване, бредя во сне; и, должно быть, правду говорил Яков Камынин всем приходящим, когда говорил:

— Курите. Знаете — карты — единое чудо на земле. Должно быть. Поэтому можно не спать для них ночей. Чудо. Кто не мечтает о чуде? — Дама пик, король треф — и девятка. Единое чудо. И красота. И еще чудо — женщины.

Камынин, играя, чертил машинально свой календарь рукописный.

— Чудо и числа дней.

К заполдням, после сна, пришли женщины, варили игрокам картошку. И Ирина, жена Камынина, чистила картошку не для мужа, и не для всех, а для Танатара. Камынин чистил сам старинной саблей, едва стоя на тонких ногах, в галлифе, с глазами, светлыми до святости. И Ирина подошла и склонила голову не на плечо мужа, а на плечо Танатара.

— Проиграл? — спросила тихо.

— Проиграл, все, — и Танатар улыбнулся наивно. — Казенные деньги.

— Много?

— Двести.

— Тысяч?..

— Да.

— Кто взял?

— Не помню. Кажется, Яков. Но все пропито, должно быть.

— Иди ко мне. Я тебя уложу.

— Что же, уложи. — Танатар улыбнулся слабо и наивно. — Все метелит?..

— Нет, улеглось.

Ирина, — никто не видел древних ассириянок, но все думали, что должны они быть, как Ирина, — груди, как чаша, глаза, как миндаль, и как у каменного Аrimана волосы, как конские, и косами на грудь, и лицо и тело почти квадратные, почти каменные, — и легкие, как у цирковой наездницы: Ирина и была цирковой наездницей, где-то в Одессе.

Мужчины, допивая остатки, как мухи в осень, — тыкались по углам, с шинелями и шубами, чтобы уснуть. Женщины готовили костюмы на вечер в маскарад. Карты перешли на кухню к вестовым военспецам. Камынин долго, за карточным столом, где играли, дописывал свой календарь, допивая остатки из рюмок. С ним сидел князь Трубецкой, адъютант, и они говорили лениво. Князь имел до семнадцатого года несколько переулков в Москве, и, кроме подмосковного, имения в Тамбовской, Воронежской и Полтавской губерниях, а Камынину принадлежал починшевому праву целый город в Западном крае, и он не знал, в каких губерниях у него леса, лесопилки, сплавы, рудники и заводы.

— Пошли еще за бутылкой коньяку, князь, — сказал лениво Камынин.

— Сейчас надо бы принять ванну и есть землянику с белым вином, — ответил лениво Трубецкой.

— Свежую землянику? Да. Но знаете, когда я играю и пью шампанское с белой маркой, — сначала еще ничего свежие фрукты и ягоды, — но потом — знаете — кислая капуста, шинкованная и шабли...

Камынин выписывал числа и снова лениво сказал:

— Пошли еще за бутылкой коньяку, князь.

— В сущности, этот коньяк, как самогон.

— Пошли за самогоном...

— С красным перцем — и филэ; хлеб есть?

— Хлеба нет, это неважно. Можно сырое мясо, князь.

Камынин вписал последнее число, долго смотрел на численник и встал, расставив тонкие свои ноги и положив руки не на талию, а на подмышки.

В комнате Ирины на диване в подушках, прикрывшись пледом и положив голову на колени Ирины, лежал Танатар, бледный, с глазами полузакрытыми и испепеленными. И вместе с сумерками вошли в комнату Камынин и Федоров. Камынин долго удерживал равновесие и наконец заговорил:

— Курите, Танатар. Ира, мне надо писать новую книгу. Роща зеленая, березовая роща, — но ее можно свести, чтобы сделать бумагу: все для книги, для красоты. Красота. Ира, ты сошлась с Танатаром, и мне надо новую женщину, — для книги. Давайте обсудим. Добро, зло, правда, ложь, — глупость. Красота. И все решать надо очень просто... Я хочу пригласить, предложить быть моей женой, — Ольгу Андреевну Веральскую.

Шли сумерки. Стекла, воздух за ними синели морозно. Перезванивали колокола. Никто не пошевельнулся, никто ничего не сказал.

— Ольга Андреевна Веральская. Надо очень просто сказать. Красота. Во имя книги. Очень все просто.

Сумерки. Сумерки — серо, сине. Заширили тени в углах. Лицо Ирины — лицо ассириянки.

— Ира!.. Ведь у нас есть рыбий жир. И мы не умрем трое, Ира...

— Расскажи о себе, Яков.

— Что же, нет жизни, есть красота. Есть чудо. Уйти от жизни.

— Зови Ольгу, Яков. Иногда мы будем пить втроем. Две пьяные женщины!

Сумерки. Сиро. Как мяч, как пружина, вскочил Танатар.
— Тройку, водки, Ольгу Андреевну — сыщем.

Дивизионную тройку в пошевнях примчали вестовые. Танатар бегал по комнатам, одеваясь за кучера. Танатар носил Ирину на руках и кричал бессмысленно: „Анаратай-ра“. Танатар стал за кучера, Камынин и Федоров сели в пошевни.

— Пшел!..

Лошади взяли серебряную пыль, визгнули сани, взвыли бубенцы, скосились дома, и дом на Сибирной Горе стал, как всегда, темный и хмурый. Федоров остался с лошадьми. Камынин и Танатар прошли в дом. Танатар остался в холодной гостиной. Камынин прошел в комнату Ольги. —

— А когда Камынин выходил из комнаты Ольги, в темной гостиной костлявыми своими ногами, наткнулся на нечто и упал, и, поднимаясь, различил Танатара: Танатар, скавшись, точно чтобы прыгнуть, похожий на черную кошку, лежал на полу и шептал, — слышал ли шопот Камынин?..

— Все же есть чудо, есть чудо. Не надо так с тайнами. Ольга, Ольга. Не надо.

В тот вечер долго метался по городу на тройке товарищ Танатар, катая всех, Ирину, барышень, пьяного Камынина, пьяного Трубецкого, военспецов.

Бал-маскарад в коммунистическом клубе.

У Ольги Андреевны Веральской гребенка была тщательно сшита, чтобы не было заметно, но Ольги Андреевны не было на бале-маскараде, а была какая-то девочка, у которой ее гребенка была сшита. Гремел военный оркестр вальсами, венгерками и мазурками. Покачивали, все же яркие, лампы. Военспецы, особенно кавалеристы,

гремели шпорами и саблями, будучи сердцем бала. Дамы были ночами, веснами (в бумажных цветах), березками, хохлушкиами (с бусами от елки), тирольками, огурцом и домино. И потому, что в городе не отапливались бани, а духи спекулянтами давно переправлены были в деревни, больше всего пахло пудрой и потом, специфически женским, точно так же, как от мужчин больше всего пахло махоркой. Военспецы гремели шпорами и танцевали, закручивая головы на-бок и в стороны, а антрактами ходили в буфет пить чай. Дамы в буфет не ходили, и в буфете рассказывали анекдоты.

— Марья Ивановна говорила вчера, что будет ночью, а сестра ее, Клавдия, — о гурудом. Подхожу к Марье Ивановне, около нее амур; я, думая, что это Клавдия, говорю: „а почему вы не огурец?“ — амур как от меня прыснет: — „нахал“, — ха-ха!..

— Это ничего. А у одной феи тесемка...

Оркестр загремел гиаватой. —

— Девочка на балу. — Девочка была, должно быть, с сестрой. У сестры было дешевое новое платье, и она зорко ждала кавалеров, не-покойно и, почему-то, злобно. Девочка ей мешала. Маленькая, худенькая, с красными руками, с бледным лициком и в бедном платьице, в заштопанных чулочках, необыкновенными глазами, ясными, светлыми, девочка смотрела на окружающих открыто и ласково, смеялась ласково и ласково спрашивала о чем-то сестру. И сестра отвечала неохотно и коротко и смотрела на нее злобно. Девочка удивительно смеялась: ласково, открыто и весело. Девочка смеялась и радовалась. Но к сестре подошел почтовый чиновник, они ушли в гиавату. Доктор Федоров зорко следил за девочкой.

Девочка осталась одна; на лице ее на минутку появились страх и печаль, и девочка тихо пошла по комнатам,

осматриваясь и наблюдая. И у девочки в глазах опять появилась печаль,—она уже не улыбалась, и глаза ее смотрели медленно и тихо. Доктор Федоров, должно быть, не заметил, что он сказал вслух,—это:

— Это еще успеется, это еще придет. Пусть потом. Не надо. Не надо.

Доктор Федоров подошел к девочке, протягивая руки.

— Не надо грустить, не надо грустить. Идемте танцевать. Идемте пить чай... Не надо,—идемте!..

Девочка побежала от чужого доктора через пары танцующих, сквозь гиавату, и вдруг заплакала, громко и горько. И сейчас же за ней заплакал доктор Федоров, упав грудью на столик, где продавались билеты и самодельные конфетти, и пряча лицо, сразу намокшее, в руки, в столик и в книжки билетов.

Доктору Федорову давали воды. Около доктора появились люди. Гиавата смолкла. И заботливее всех, и нежнее всех—поистине по-человечески!—был Танатар. А когда Танатар сажал доктора Федорова в сани, из подъезда вышла та девочка, с сестрой и чиновником. И сестра, поднимая девочку за руку почти на воздух, говорила злобно:

— Дура, дура, ревикса...

Увидела доктора Федорова и прошептала злобно чиновнику:

— И этот, тоже... нахал!..

Глава IV.

„Давно, очень давно въ послѣдній разъ брался я за перо, чтобы записать на страницы дневника то, что почему-нибудь входило въ кругъ моей наблюдательности и волновало меня. Я говорю: „очень давно“, хотя съ тѣхъ поръ прошло только двѣ недѣли—но какъ много прожито, какъ пережито!.. Во-первыхъ, это мое сближеніе съ купчихой

Ольгой Николаевной Жмухиной. Вся эта антимонія вышла чудесно какъ-то, какъ въ сказкахъ... Находясь въ періодѣ, и не использовать оного, показалось смѣшнымъ на сей разъ,—ну, что жъ, я и воспользовался... До этого дня мы не разъ съ ней играли... Видя, что ничего не говорить, я нѣсколько времени былъ подъ кошмаромъ и разсужденіями съ собой, какъ бы къ ней прійти... случай выпалъ... я пришелъ тайкомъ... непріятно какъ-то... Приняла, что говорится, не съ простертymi объятіями — холодновато и конфузливо. Даже сказала: „Ваня, зачѣмъ вы ко мнѣ пришли?—вѣдь неловко“... Съ этими словами я бросился на нее, подобно кровожадному звѣрю... но на это она сказала: „ну, зачѣмъ пачкаться руками?—пойдемъ лучше на кровать“.. При этихъ словахъ я чуть не вскрикнулъ отъ радости . . . Ну, да ладно, зато въ слѣдующіе дни возьму свое... За этимъ днемъ потянулись въ такомъ же духѣ еще три дня. Послѣдніе два дня былъ у нее со своими товарищами В. Федоровымъ и Самуиломъ Танатаромъ... Не буду много говорить объ этой пошлости... Я эту мерзость долго колебался не писать, но вовсе не потому, что боялся попасть на глаза крестной, — вовсе нѣть, — потому, что этотъ шагъ первый во всю мою жизнь... Первое посѣщеніе мое, когда я былъ одинъ, было лучше въ сравненіи съ посѣщеніями съ товарищами. Какъ и всегда, въ подобныхъ вещахъ, началось съ приставаній (основательныхъ), и въ послѣдній перешло въ дикую вакханалию. Съ товарищами заявлялись къ ней пьяными. Много смыкались съ Ольгой Николаевной надъ товарищами: Федоровъ все плакалъ, а Танатаръ молился... оказалось, что они — дѣвственники, и Федоровъ такъ и не смогъ нарушить свою дѣвственность... Все дѣлалось нельзя какъ лучше... Заводился граммофонъ, пили чай, за которымъ устраивали обниманіе, угощая виномъ... „Живи и наслаждайся“, говорить одинъ ученый...“

И опять больно падает дневник на колени.—Господи, господи, дай чистоты! Дай чистоты, господи! Избави от боли, от лжи, от грязи!..

День. Воздух в морозе, желт, как воск,—желто, как воск, солнце. На стеклах окон ожелченные солнцем веера и хвоши инея. В комнатах бодрый холод, тишина, пустынность, восковые лучи ложатся на каменный пол. Термометр стоит на тридцати двух,—там, за замерзшим окном. Илья говорил утром, что на дворе валяются замерзшие галки.

Падает дневник на колени, падают на колени слезы. Пустыня дня—пустыня дней.

И опять телефонный звонок...

... Сочельник под новогодье. В загородной усадьбе Камыниных, теперь советском имении, в сочельник, под новогодье, военспецы дивизиона устраивали вечеринку. Колонный дом, простоявший столетие, оттапливали за несколько дней, и все же в нем было сыро и холодно. И потому, что дом был расташен, в нем не нашлось ламп, и вечером освещали его лучинами. Оркестр играл во мраке, без нот, врал отчаянно, и все же играл, на хорах, в белой зале. Одни уехали еще утром, чтобы в деревне провести день, кататься на лыжах и гулять, другие приехали прямо к ужину. В каждом городе находилась особая порода барышень, которые имели одно—увеселяться:—на этом вечере этих барышень было очень много. Вечером в лесу, на опушке, компания лыжников зажигала на веселой елочке две свечи, плясала около веселой елочки, потом елочку сожгли. Ночь пришла глубокая и безмолвная с мириадами звезд и с инем, горящим, как звезды. В ободранной гостиной накрыт был ужин, вестовые светили лучинами. Люди, в шинелях, в шубах и шапках, пели, ели и пили. Оркестр играл очень громко, но никто не танцевал. После ужина

опять пили:—было событие: писатель Камынин, бывший хозяин, своим ключем отпер потайной шкаф с винами, иные вина прокисли, иные коньяки и водки повыдохлись,—но их пили под ура, под „умрешь—похоронят“ и под „гаудеамус“. Вин, коньяков и водок (пусть выдохшихся) в шкафе оказалось больше, чем было надо, чтобы устроить кавалерийскую атаку—было ужасно весело, и несколько барышень, забравшись на камин, пересели на спины военспецов, изображавших горячих коней,—это называлось кавалерийской атакой. Атака помчалась с визгом по темным комнатам. В диванной у круглого стола завязалась железка. Во всех темных комнатах уже слышались шепоты и писки. В зале, вдалеке от диванной, гремел оркестр, в диванной пополз махорочный дым, в диванной тоже был камин и с камина отъезжали новые кавалерийские пары, в диванной чадили лучины. В диванной на окне, за диваном, Камынин нашарил книгу, книга была Евангелием, и Камынин, расставив ноги, став у лучины, прочел вслух, наудачу:

А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их.

А наемник бежит, потому что наемник, и не радит об овцах.

Барышня сорвалась с камина и взвизгнула.

Кто-то сказал:

— Ва-банк.
К Камынину подошел Танатар и сказал тихо:
— Прочти для меня...—

— Телефонный звонок. Телефонный звонок прозвучал в пустыне комнат Ольги (в желтой пустыне) необычно и резко, и в трубке зазвучал голос Самуила:

— Ольга. Простите. Мне очень больно, мне очень тоскливо. Ольга, простите... за все. Я искуплю свои грехи. Вы знаете, у нас жизни нет, мы умираем, мы должны умереть... Простите. Может, моя грязь—мечта о прекрасном крае... Я говорю кровью сердца.

И Ольга ответила тихо:

— Да, прощаю. Да-да, прощаю. Все прощаю, за все простила. Ничего нет...

В тот час, когда Танатар позвонил Ольге, загудела под горой Ольга Николаевна и, должно быть, в это же время крикнул в форточку из клуба Андрей Андреевич: — „Илья, подавай!“...

... Барышня сорвалась с камина и взвизгнула. Кто-то сказал: ва-банк! К Камынину подошел Танатар и сказал тихо:

— Прочти—для меня.

— Для тебя?—хорошо. От Матфея:

32. От смоковницы возьмите подобие когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето.

33. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.

Камынин кончил и пьяно качнулся. Танатар пристально взглянул на него.

— Хочешь, я прочту тебе?

— Да, прочти.

— Не надо книги. Я помню так. Тоже от Матфея: „оставим мертвым погребсти свои мертвцы“... Глава восьмая: „...оставим мертвым“...

Танатар круто повернулся и вышел из комнаты. В доме была испорчена уборная, и мужчины выходили на заднее крыльцо. Танатар пошел туда. Над землей низко поднималась луна, на селе лаяли собаки. Трубецкой тыкал голову в снег и совал в рот два пальца, какой-то другой

военспец лежал на снегу, чтобы прохладиться. Двое закуривали. Танатар сошел с крыльца и прошел шага три по дорожке и остановился.

— Как, черти, загадили...

Ноган метнулся в руке очень быстро, выстрел грянул громко, но сам Танатар, должно быть, его не слышал...

За красным гробом товарища Танатара, под звуки Интернационала и похоронных маршей, шла только одна женщина, скорбная, тонкая, — белая, бледная, — жена, которая все знала.

Ночь. Мрак синий. Снега. Звезды. Безмолвие.

У лесной опушки, где строгие сосны, разметались елочки, закутанные снегом, придавленные к земле. Одна елочка обгорела и чадит горько. Безмолвие. Недвижимость. Звезды четки, и звезд—мириады. Упала звезда. Безмолвие. Идут часы. Синий мрак. Но вот кто-то зашевелился в поле у суходола, и между разметанных елочек побежала, закружила—одна метеленка, другая,—и исчезли, умерли. Кто-то с севера стал надвигать темную, мутную рукавицу на звезды. Опять побежали метеленки—одна, две, пять. Две метеленки встретились, спутались шлейфами, зашептались, слились и умерли. Метелинкам ответил лес,—в лесу закричало, в строгом менуэте качнулись сосны, затрещали и посыпались прошлогодние ветки. И опять безмолвие. И опять закружились, побежали метеленки—одна, две, сотни, —нарождаясь, умирая. Сосны склонили вершины перед новым менуэтом. Закричало, зазвенело, завыло. Мутная небесная рукавица посыпала крупу. Метеленки спутались, метеленкам тесно, метеленки побежали в поле,—мириады метеленок.

И метель. Рожденные метелью мертвые метеленки неслись тысячи верст, над полями, над лесами, над реками,

над городами, умирая, умирая, умирая в стоне, гоготе, крике и плаче.

Эта метель не была сказана телефоном, шла от Заволжья на Елец, на Курск, на Сумы, на Полтаву.

Бело, бело, бело.

Доктор Андрей Андреевич Веральский не ездил в метель по больным, и целый день читал Майн-Рида. Доктор Андрей Андреевич — в шубе, шапке и валенках — в три вышел обедать, ел щи из кислой капусты с бараниной, молча поглядывал на Ольгу и хмуро сказал:

— Время теперь трудное, Оля. Ты отдохнула. Ты бы поступала на службу, в учительницы, что ли... Праздники кончились; надо трудиться, и не так скучно... Возьми баранины...

И еще об Иване Петровиче Бекеше. К писателю Якову Камынину приходил Иван Петрович, говорил о дневниках и кончил, сказав, что взял за дневники очень мало, и просил набавить или вернуть дневники. Камынин ответил, что покупал дневники не для себя, а для Ольги Андреевны Веральской.

Ольга Андреевна встретилась с Камыниным на утре в бирже труда. Перед ними записывалась барышня с черными глазами, как у овцы, и с бедрами, как разводы саней.

— Ваша профессия? — спросила писица барышню.

— Политическая эмигрантка, — ответила барышня. — Я до тысяча девятьсот семнадцатого года жила за чертой оседлости. Софья Пиндрик.

— Ага!

Вторым записывался Камынин.

— Ваша профессия? — спросила писица.

— Писатель.

И писица записала в соответствующую графу: — песец!

МАТЬ-МАЧЕХА¹⁾

¹⁾ Впервые повесть появилась под заглавием „Третья столица“.

Эту мою повесть, отнюдь не реалистическую,

я посвящаю

АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ
РЕМИЗОВУ,

мастеру,

у которого я был подмастерьем.

Бор. Пильняк.

Уездным отделом народа раза
вполне обсрудованная

— БАНЯ —

(бывш. Духовное училище в саду)
для общественного пользования с пропуск-
ной способностью на 500 чел. в 8-ми час.
рабочий день.

Расписание бани:

Понедельник—детские дома города
(бесплатно).

Вторник, пятница, суббота—мужские
бани.

Среда, четверг—женские бани.

Плата за мытье:

для взрослых—50 коп. зол.

УОТНАРОБРАЗ.

Сроки: Великий пост восьмого года Мировой Войны и гибели Европейской культуры (по Шпенглеру) — и шестой Великий пост — Великой Русской Революции, — или иначе: март, весна, ледолом, — когда Великая Россия великой революцией метнула по принципу метания батавских сле-

зок,—Эстии, Латвией, Литвой, Польшей, монархией, Черновым, Мартовым, Дарданеллами,—русской культурой,—русскими метелями,—

—и когда—

—Европа—

была:

—сплошным эрзацем—

—(Ersatz — немецкое слово, значит наречие —вместо)

Место: места действия нет. Россия, Европа, мир, братство.

Герои: героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверье,—культура, метели, грозы, образ богоматери. Люди,—мужчины в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно;—женщины:—но женщины моя скорбь,—мне романтику—

— единственное, прекраснейшее, величайшая радость.

В России—в Великий пост—в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут, после дневной ростепели, ручьи под ногами,—как в марте днем в суходолах, в разбухшем суглинке,—как в июне в росные рассветы, в березовой горечи,—как в белые ночи,—сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки),—сердце наполнено, сердце трепещет,—и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой,—так же

тесно, как сердце в руке,—что мир, земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как сумерки великопостным звоном, как березовая горечь в июне)—одно: жизнь, чистота, молодость, нежность, хрупкая, как великопостные льдинки под ногою. Это мне—женщина. Но есть и другое.—В старину в России такие выпадали помещичьи декабрьские ночи. Знаемо было, что кругом ходят волки. И в сумерках в диванной топили камин, чтоб не быть здесь никакому иному огню,—и луна поднималась к полночи, а здесь, у камина, Иннокентием Анненским утверждался Лермонтов, в той Французской пословице, где говорится, что самое вкусное яблоко—с пятнышком,—чтоб им двоим, ему и ей, томиться в холодке гостиной и в тепле камина, пока не поднялась луна. А там на морозе безмолвствует пустынная, суходольная, помещичья ночь, и кучер в синих алмазах, утверждающих безмолвие, стоит на луне у крыльца, как леший, лошадь бьет копытами: кучера не надо,—рысак сыпет комьями снега, все быстрее, все холоднее проселок, и луна уже сигает торопливо по верхушкам сосен. Тишина. Мороз. В передке, совсем избитом снежными глыбками, стынет фляжка с коньяком. И когда он идет по возже к уездцам рысака, не желающего стоять, дымящего паром,—они стоят на снежной пустынной поляне,—в серебряный, позеленевший поставец, блеснувший на луне зеленым огоньком, она наливает неверными, холодными руками коньяк, холодный, как этот мороз, и жгучий, как коньяк: от него в холода ноют зубы и коньяк обжигает

огнем коньяка,—а губы холодны, неверны, очерствели в черствой тишине, в морозе. А на усадьбе, в доме, в спальне, домовой пес-стадом ветериник уже раскинул простыни и в маленькой столовой, у салфеток, вздохнул о Рождестве, он вспомнил о том, что женщины, как конфеты, можно выворачивать из платья.—И это, конькот этих конфет, отчего-то пружиний холодом и коньяком,—это: мне — — Ах, какая стена молчащая, глухая—женщина—и когда окончательно разобью я голову?!

2. Мужчины в пальто с поднятыми воротниками.

Емельян Емельянович Разин, русский кандидат филологических наук, секретарь уотнаобраза.

Пять лет русской революции, в России, он прожил в тесном городе, на тесной улице, в тесном доме,—каменном особняке о пятн комнатах. Этот дом простоял сто лет, ходил без нужника столетье и еще до революции у него полысела охра и покосились три несуразные колонки, подпирающие классицизм, фронтон и терраску в палисаде. Переулочек в акации и сирених, в воробьях,—был выложен кирпичными булыжинами, и переулочек упирался в церковь сорока святых великомучеников (в шестую весну русской революции, по иному, по новому в столетье—взглянули образа в этой церкви из под серебряных риз, снятых голодным, позеленевших и засаленных воском столетий). Вправо и влево от дома шли каменные заборы в охре. Против—тоже каменный—стоял двухъэтажный, низколобый, купеческий дом—домохвата—в замках, в заборах, в строгости,—этот дом—тоже печка от революции: сначала из него повезли сундуки и баракло (и вместе с бараклом ушли купцы в сюртуках

до щиковоток), над домом повиснул надолго красный флаг, на воротах висели по очереди вывески отделов—социального обеспечения, социальной культуры, дом гудел гулким гудом, шумел интернационалом коммуниха,—чтобы предпоследним быть женотделу, последним—казармам караульной роты,—и чтобы дому остаться в собственной своей судьбе, выкинутым в ненадобность, чтобы смолкнуть кладбищенски дому: побуревший флаг уже не висел на крыше, остался лишь кол, дом раскорячился, лопнул, обалдел, посыпался щебнем, охра—и та помутнела, окна и двери, все деревянное в доме было сожжено для утепления, ворота ощерились сучья и даже крапива в засухе не буйничала,—дом долгое время таращился, как запаленная кляча.— В доме Емельяна Емельяновича в первую зиму, как во всем городе, на всех службах, задымили печи, и на другую зиму, как во всем городе, поползли по потолкам трубы железок, чтобы ползать им так две зимы,—чтобы смениться потом для дальнейшего мореплавания кирпичными-прочными мазанками,—в снежной России, как в бесснежной Италии. Емельян Емельянович каждое утро, с десяти до четырех, ходил на службу, и университетский его значок полысал от трудов и ненадобности. В оконной раме сынишка выбил стекло (этого сынишку вскоре отвезли — навек — на кладбище),— окно заткнули старым одеялом, и тряпка зимовала много зим, бельмом. В столовой на столе была белая клеенка, с новой зимой она пожелтела, потом она стала коричневой и не была, собственно, клеенкой, ибо дыр на ней было больше, чем целых мест,—и на ней всегда кисли в глиняных мисках капуста и картошка,—хлеб убирался, когда был, в шкаф. Вечерами горели моргасы, нечто вроде лампад, заливаемые фатанафтolem; от них комнаты казались подвалами, и черной ниткой в темноте шли верейки сажи, чтобы не только мужу, но и жене стать к

утру усатыми. Дом классической архитектуры, с кирпичными полами, был, в сущности, складным, ибо все кирпичи расшатались и, тщательно сохраняемые в положении первоначальном, посыпали от заботливых рук человеческих и от глины.—Все годы революции он, Емельян Емельянович Разин, провоевал с неведомыми во мраке некими мельницами, пробыл у себя, нигде не был,—даже за городом, от трудов у него получалась картошка,—от юношеской ссылки к Белому морю остались пимы и малица, купленные у самоедов на память,—и на третий год революции он, Емельян Емельянович, надел их, чтоб ходить в уотнаобраз: к тому времени все уже переоделись так, чтоб не замерзнуть и чтоб, не моясь по годам, скрывать чернейшее белье — —

— Открыта —

Уездным
отделом наробра-
за—вполне обору-
дованная—

— Б А Н Я — !

У него, Емельяна Емельяновича Разина, не случайно осталось ощущение, что эти пять лет в России — ему— были сплошной зимой, в моргасном полумраке, в каменном подвале, пыли и копоти, четыре года были сплошной моргасной, бесщельной, безметельной, аммиачной зимой. Но он был филолог, окрест по селам исчезали усадьбы, ценности рушились,—и за Кремлем, на Верхнем базаре, рундуки, как клопов в каменном доме, нельзя было вывести: и в той комнате, где окно было заткнуто одеялом, где покоились груzzo на кирпичах копоть и грязь и все же кирпичи были в невероятнейших географических картах несуществующих материков, написанных сыростью,— все больше и больше скапливалось книг, памятников

императорской русской культуры, хранивших иной раз великолепные замшевые запахи барских рук. Книги, через книги—жизнь, чтоб подмигивать ему, сидя за ними ножами: конечно, он не замечал ватного одеяла в окне. У него выработалась привычка ходить с поднятым воротником—даже у пиджака,—потому что в России был постоянный сырной тиф, и поднятый воротник—шанс, чтоб не заползла вошь, и еще затем, чтоб скрыть чернейшее белье. Жизнь была очень тесная: Емельян Емельянович не был горек своей жизнью, он был советским—так называлось в России—работником, он был фантаст, он создал—графически—формулу, чтоб доказать, что закон—для сохранения закона—надо обходить: он мелом рисовал круг на полу, замкнутый круг закона, и показывал опытно, что, если ходить по этой меловой черте, по закону,—подметки стирают мел,—и, чтоб цел остался мел,—закон,—надо его обходить. Впрочем, об этом потом. Емельян Емельянович был в сущности:—

— и Иваном Александровичем Каллистраты-
чем, российским обывателем,

— и ротмистро-тензигольским Лоллием Кро-
нидовым, российским интеллигентом.

Четыре года русской революции—Емельян Емельянович Разин—заполнил:—

— сплошной,
моргасной,
бесщельной,
пещерной,—

— безметельной,—

— зимой,—

в пимах и малице. В пятый год—он: спутал числа и сроки, он увидел метель—метель над Россией, хотя видел весну, цветущие лимоны. Как зуб из гнилой челюсти,—самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком,—метель-

ным январем, где-то в Ямбурге, на границе Р. С. Ф. С. Р., — когда весь мир ощетинился злую собакою на большевистскую Россию, и отмечивалась Россия от мира горящими поленьями, как у Мельникова-Печерского—золотоискатели—ночью в лесу—от волков,—его, Емельяна, выкинуло из пределов Р. С. Ф. С. Р.: в ощетиненный мир, в фанерные границы батавских слезок Эстии, Литвы, Латвии, Польши, в спокойствие международных вагонов, неторопных станций, киркочных, ратушных, замочных городов.—Над Россией мели метели, заносили заносы,— в Германии небо было бледно, как немецкая романтика, и снег уже стаял, в Тироле надо было снять пальто, в Италии цвели лимоны.—В России мели метели и осталась малица, над Россией выли белые снега и черные ветры, снег крутился до неба, в небо выл,—здесь столики кафе давно были вынесены под каштаны, блестели солнце, море, асфальт, цилиндры, лаковые ботинки, белье, улыбки, повозки цветов на перекрестках.—В России мели метели и осталась малица. Неаполь—сверху, с гор, от пиний—гудел необыкновенной музыкой, единственной в мире, вечностью—в небо, в море, в Везувий.—В России мели метели,—и в марте, перед апрелем,—встретила вновь Россия—Емельяна—под Себежем, снегами, метелями, ветрами, снег колол гололедицей, последней, злой, перед Благовещением. Зубу, вырванному из челюсти,—не стать снова в челюсть. Емельян Емельянович Разин—все спутал, все съехало,—но метели—остались,—метели в тот час, когда расцветали лимоны, и метель не была зимою, ибо январь срезал зиму, снега, Россию, метель была всюду,—и метель спутала все,—казалось:

лимонную рощу заметают русские стервы метельные, в сугробах цветут анемоны; в Вене в малице—мчит самоед, в Неаполе сел в ратушу—тоже метель—Исполком: Неаполь впер-

в Санкт-Петербург, Москва—сплошной Здрав-отдел, где сыпной тиф—метелями;—метель гудит Неаполем, Неаполь воет метелями, цветут апельсины,—весь мир ощетинился—не собаками—нибелунгами, нибелунги сгидли в метели, а метель—Россия,—над Россией в метели мчат метельными стервами не метеленки: метеленками люди, избы, города, людьми мерзнут реки, города избами, и люди, и избы, и снег, и ветра, и ночи, и дни кроют, кроят, мчат, мечут — в Ямбургских лесах, в Себежских болотах, в людоедстве с Поволжья,—克莱енка мчит ковром самолетным — для мух,—трубы печурочные—подзорные трубы в вечность,—метель,—чертовщина,—все спутано,—не найдешь камертони,—

— это тогда, когда:

— тропинка идет по скату Везувия, уже в запылившемся, высохшем вереске, через бесстенную рощицу маслин, в неподвижные заросли цветущих олеандров; внизу город, гудящий необыкновенной, единственной в мире музыкой, и синее блистающее море,—сзади, выше—белый дымок Везувия, рядом белая церковь, которая служит раз в год. И когда-то, ослепительный и прекрасный, здесь лежал город, и люди в легких одеждах шли этой тропинкой к Везувию.—Те люди, тот город—погибли:

не от вулканического извержения,—

— потому что древнюю римскую культуру уничтожила—европейская, чтоб погибнуть—потом—самой.—Метель.

3. Мужчины в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно.

Мистер Роберт Смит, англичанин, шотландец.

В международном вагоне, как буржуа, от Парижа до Риги, в спокойствии, как англичанин, в купэ, где были мягкость голубого бархата, строгость красного дерева, фанер, рам и блестящая тяжесть меди, ручек, скреп,— на столике, в медной оправе, около бронзовой пепельницы, в солнце, в зеркальных окнах,—лежали апельсины, апельсинные корки, шоколад в бумаге, тисненной золотом, коробка сигар, резиновый порт-табак, прибор для чистки трубок, трубки. Поезд пересекал Германию, где небо было бледно, как немецкая романтика, но был весенний день, бодро светило солнышко, и в купэ с окнами на юг, в солнце, был голубоватый свет, в бархате, в красной фанере, скрывающей мрамор умывальника. Солнце бодро дробилось в медных ручках, скрепах, оконных запорах, в бодрости красного дерева. В купэ был голубой свет, нежнее, чем дымок сигары, но дымок сигары не мешал. Голубой свет был рожден голубой мягкостью бархатных дивана и его спинки, и стульчика у стола. Мистер Роберт Смит, как всегда, спал в пижаме, в туго подкрахмаленных, скрипящих простынях. В умывальнике была горячая и холодная вода. Проводник сообщил, что кофе готово, и оставил номерок места в ресторане. Мистер Роберт мылся и обтирался до ног одеколоном, делал голый гимнастику, брился, затем надел все свежее: шелковые голубые кальсоны до колен, черные носки на прорезиненных щелковых подвязках, охватывающих икру,—черные ботинки без каблуков с острышими носками,—крахмальную рубашку, блестящую добродетелью. Над чемоданом с костюмами мистер Смит

на момент задумался и надел синий—брюки, завернутые внизу, жакет с большим прорезом, с узкой талией и широкими полами. Пришел проводник, француз, убрать купэ. В ресторане перед мистером Смитом сидел русский, должно быть, ученый: мистер Смит это узнал потому, что господин был в визитке, но с серым галстуком, манжеты у него были пристяжные, и он за столиком—за кофе—разложил кипу немецких, английских и русских книг,—этого никогда бы не сделал европеец.— В купэ дробилось, блистало солнце, был голубой свет, проводник ушел, и пахло сосновой водой. Мистер Смит сел к окну, откинулся к спинке, в солнце, ноги положил на стульчик у столика, солнце заблистало в крахмаленной груди, переломилось на тугой складке брюк, кинуло зайчик от башмака ко многим другим зайчикам, от медных сдержек, от строгого лоска красных фанер. Волосы в бриллиантине, на прямой пробор, тоже блестели,—а лицо, в голубом свете, было очень бледным, почти восковым, до ненужного сухое, такое, по которому нельзя было определить возраста—двадцать восемь или пятьдесят. Мистер Смит сидел с час неподвижно, с ленивою трубкой, которая медленно перемещалась из губ в руки, вот-вот потухая. Потом он достал из чемодана дорожный блок-нот, развернул автоматическую ручку-чернильницу, и написал письмо брату.—

„Эдгар, старина!

„Ты писал мне о, так называемой, гипотезе вечности и о том, что твое судно уже снаряжено и на днях ты идешь в море к Северному полюсу. Быть может, это письмо дойдет до тебя из Лондона уже по радио. Сегодня я пересду границу прежней императорской и послезавтра — теперешней, советской России.

Мы с тобой долго не увидимся. Ты прав, истолковывая гипотезу вечности, как фактор вообще всякой жизни: все мы, как и история народов, смертны. Все умирает, быть может, ты или я завтра умрем,—но отсюда не истекает, что человечество, ты, я—должны ожидать свое завтра, сложа руки. Все мы, конечно, ощущаем нашу жизнь как вечность, иное ощущение нездороно,—но мы знаем о предельности нашей жизни и поэтому должны стремиться сделать—дать и взять—от жизни все возможное. Я скорблю лишь о том, что у меня слишком мало времени. В этом я вполне согласен с тобой. Но я думаю сейчас о другом, которое мне кажется не менее важным: о человеческой воле, когда народы в целом, как ты и я в частности, волят строить свою жизнь. Ты уходишь со своим судном к Северному полюсу, я еду в Россию, мы вместе, юношами, замерзали в северной Сибири. Ты у Северного полюса будешь отрезан от человечества, быть может, наверное, ты захвраешь цынгой, тебе придется неделями стоять среди льдов, очень возможно, что ты погибнешь в аварии или умрешь от холода или голода, полгода ты будешь жить в сплошном мраке, тебе покажется событием, если, быть может, посчастливится побывать в юрте самоеда,—все это ты знаешь лучше меня. Ты идешь на всяческие лишения,—и все же ты уходишь в море, хочешь уйти потому, что ты так волишь. Это свободная твоя воля. Ты волишь итти на страдания. Твои страдания, твои лишения—будут тебе даже радостью, потому что ты их волишь увидеть: это было б

непереносимо, если бы это было против твоей воли. То, о чем я сейчас говорю, я называю волей хотеть, волей видеть. Эта воля, когда она объединена нациями, человечеством, его государствами, она есть,—история народов. Иногда она почти замирает, тогда у государств нет истории, как у китайцев в последнее тысячелетие. Так рождались и умирали мировые цивилизации. Мы переживаем сейчас смену последней—Европейской. Мы переживаем сейчас чрезвычайную эпоху, когда центр мировой цивилизации уходит из Европы и когда эта воля, о которой я говорил, до судороги напряжена в России. В Париже мне сообщали, что там найден способ борьбы с брюшным тифом и не могут приступить к изучению сыпного—за отсутствием во Франции сыпно-тифозных экспонатов. Любопытно проследить вплотную историческую волю народа, тем паче любопытную в аспекте людоедства и заката Европейской культуры. Но вот что проистекает еще из этой воли видеть: холодность, жестокость, мертвенност,—людям, живущим этой волей, не страшно, а только интересно смотреть—смерть, сыпной тиф, расстрелы, людоедство, все ужасное, что есть в мире.—

„Всего хорошего тебе, дорогой
Эдгар, будь здоров.
Твой брат Роберт.“

В Эйдкунене, на Германской границе, надо было пройти через таможню. Были солнечные полдни,—и около Эйдкунена, когда поезд медлил, прощаясь с восточной Пруссией, в канаве у шпал, после уже нескольких меся-

цев весны в Париже, здесь впервые перед Россией появился снег. Под стеклянным навесом у вокзала, на пустынном дебаркадере, было холодновато и откуда-то—из полей—веял пахнущий землею, набухший русски-мартовский ветерок. Из вагонов табунками вышли джентльмены, женщин почти не было.—Предложили сдать паспорта. Трекеры в тележках повезли вещи. Прошли в таможенный зал. Американцы в буфете пили коньяк. Мистер Роберт Смит прошел на телеграф и дал несколько телеграмм:

— Миссис Смит, Эдинбург.—Мама, сейчас я переезжаю границу. Прошу Вас, прости миссис Елизавет: она не виновата.

— Миссис Чудлей, Париж.—И еще раз я шлю Вам мое поклонение, Елизавет, и прошу Вас считать себя свободной.—

— Мистер Кингстон, Ливерпуль.—Альфред, все мои права и обязанности я оставляю Вам.—

— Лионский кредит, Париж. — — — № текущего счета — — —

— Министру Сарва, Ревель, Эстония — — —

Мистер Смит вышел с телеграфа—в цилиндре, в черном пальто,—с приподнятым—случайно, конечно—воротником. Поезд передавался в Верхболово, в Литву, трекер принес билеты, метр-д'отель из ресторана-вагона пригласил обедать. За столом подали виски. К вечеру солнце затянуло облаками, в купэ помутнело, на столе стояла бутыль коньяку, снег встречался все чаще, поезд шел лесами,—проводник распорядился затопить печи, застукал молоточек калорифера, вспыхнуло электричество, стало тепло. Метр-д'отель пригласил к чаю.—День прошел. На столе стояла вторая бутыль коньяку.

Мужчины:— в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно. Героев нет.

Место: места действия нет. Россия, Европа, мир.

4. Россия, Европа: два мира.

Поезд шел из Парижа в Ригу—в Россию, где революция. В Берлине, на Александр-плац, на Фридрихс-бан-хоф, в Цоо,—поезд останавливался на две минуты пятнадцать секунд. Международные вагоны тускло поблескивали голубиным крылом. Поезд ящерицей прокроил по крышам, под насыпями, под виадуками, через дома, над Шпрэ, над Тир-Гартеном, мутнея под стеклами крыш, в коридорах переулков, мешая дневной свет с электричеством, в гуле города. До Берлина международные вагоны были комфортабельным *dolce far niente*.— в Берлине исчезли дамы и миссис, сошел японский дипломат, впереди русский бунт,—поезд пошел деловым путешественником, подсели новые пассажиры, много русских. Из гама города, из шума автобусов, такси, метро, трамваев, поезд выкинуло в тишину весенних полей, на восток: каждому русскому сердце щемит слово—восток. Вечером за ужином, в ресторане-вагоне, в электричестве, ужин был длинен, пили больше, чем следует, не спешили перед скучным сном. Обера и метр-д'отель были медлительны. Окна были открыты, ночь темнела болотной заводью, иногда ветер заносил запахи полей. Американцы из АРА, ехавшие в Россию, говорили только на английском, молчали, сидели табунками, породистые люди, курили трубки, пили коньяк, ноги закинули на соседние стулья, фривольность мужской компании. Большой столик заговорил, громко, по-русски и по-немецки—о России:— и это было допущено, такое неприличие,—впереди русская революция—впереди—черта, некая, страшная, где людоедство. Дипломатические курь-

еры—французский, английский, российский—сидели сурово. Русский профессор-путеец радостно познакомился с российским курьером, у курьера было лицо русского солдата, он был в американских круглых очках, у него болели зубы, он молчал: профессор—тоже в очках, заговорил таинственно об „аусфуре“. Поезд подходил к польскому коридору. В той перекройке географических карт и тех, которыми гадают цыганки,—перекройка, швами которой треснула Европа, европейская война и русская революция, рубец польского коридора был очень мозолящим. В купэ были приготовлены подкрахмаленные постели, открыты умывальники,—американцы и англичане пошли спать, сдав паспорта проводнику. Сторки были опущены. В коридоре негромко разговаривали русские. Одиночками у окон стояли немцы, обиженные коридором,—и одиноко, один единственный, стоял англичанин, с трубкой в зубах, перед сном. Русский профессор заспорил с латышем.

... — В России крепостное право, экономически изжитое, привело к людоедству. В России людоедство, как бытовое явление,—сказал латыш.

— Да, моя родина, моя мать—Россия,—сказал профессор:—каждому русскому Россия, нищая, разутая, бесхлебная, кладбищенская—величайшей скорбью была—и радостью величайшей, всеми человеческими ощущениями, доведенными до судороги,—ибо те русские, что не были в ней в эти годы, забыли об основном человеческом—о способности привыкать ко всему, об умении человека применяться:—Россия вшивая, сектантская, распопья, распопы-упорная, миру выкинувшая Третий Интернационал, себе уделившая большевистскую смуту, людоедство, национальное нищенство.

Говорили почему-то оба: профессор и латышский капиталист по-немецки, но слово—людоедство,—употребленное несколько раз, каждый раз именовали по-русски, понижая

голос. Латышу, сраставшемуся с Россией детством и десятилетиями зрелой жизни, ему ведь часто ночами, спросонья, в полуслне мерещились тысячи серых рук у глотки, высохшие груди из России, с плохой какой-то картинки,—тогда его мучила одышка, вспоминалась молодость, всегда необыкновенная, ему было тоскливо лежать в простынях, он пил содовую и старчески уже думал о том, что он боится—не понимает—России и отгонял мысли, ибо не понимать было физически мучительно.

В купэ горели ночные фиолетовые рожки, светили полумраком. Англичанин выкурил трубку, ушел. Поезд замедлил ход. Въезжали в коридор, по вагонам пошли польские пограничники, позывая шпорами. Профессор заговорил об аусфуре. Пограничники ушли, за окнами в небе светила мутная луна, — коридор опустел, вагон затих. Едва пахло сигарами, фиолетовые рожки светили полумраком. Тогда по коридору бесшумно прошел помощник проводника, собрал у дверей башмаки и понес их к себе чистить,—у проводников за плотно притворенной дверью горело электричество, на столике стояла бутылка коньяка, на диване против проводника сидел джентльмен, французский шпион, составлял списки едущих в Россию. Разговаривали по-французски,—мальчишка чистил башмаки.

На другой день к полдню, у Эйдкунена появился снег,—проводники распорядились к вечеру затопить вагоны. В Эйдкунене, на таможенный осмотр, американцы вышли в демисезонных пальто, в дорожных кэпи, с шарфами наружу, перекинутыми через плечо, в желтых ботинках и крагах; американцы на платформе немножко поиграли—в импровизированную игру вроде той, которую мальчишки в России и Норвегии занимаются на льду: катали по асфальту глышки, и тот, кому этой глышкой попадали в башмак, должен был попасть другому и бегать за глышкой,

если она пролетала мимо. Русский профессор заговорил обеспокоенно об аусфуре — с российским курьером, у курьера болели зубы, он молчал, — профессор вез с собой кожаную куртку, коричневую, совершенно новую, купленную в Германии, — в сущности нищенскую, — и у него не было разрешения на вывоз; латыш посоветовал выпороть с воротника клеймо фирмы, профессор поспешно выпорол; в таможенной kontоре немцы, в зеленых фуражках, кланяющихся туда и обратно, сплошь с усами, как у императора Вильгельма II на карикатурах, осматривали вещи: затем каждый пассажир, кроме дипломатов, должен был пройти через будку для личного осмотра, — и в этой будке у профессора, когда он вынимал из кармана портмонэ и платок, выпал лоскутик клейма фирмы, — чиновник его поднял, — профессора окружили немцы в зеленых фуражках, профессор стал школьником. Поезд передали в Вержболово, — профессор отстал от поезда. Метр-д'отель пригласил к обеду, обед был длинен, ели и бульон с желтком, и спаржу с омлетом, и рыбу, и дичь, и телячий карбонат, — на столиках стояли водки, коньяки, вина, ликеры, — после обеда долго курили сигары, — за зеркальными окнами ползли дюны, леса, перелески, болота. Все больше попадалось снега, лежал он рыхлый, бурый, — а когда пошли песчаные холмы в соснах, в лощинах тогда снег блестел в зимней своей неприкословенности, как молодые волчьи зубы. Небо мутнело. — После обеда в комфортабельности, неспешности, долго курили сигары, пили коньяк, метр-д'отель и обера были в такте этой неспешности. Впереди Россия. —

— Впереди — Россия. —

— И через два дня, — поезд, — разменяв в Риге пассажиров, — сменив международные вагоны на советские дипломатические, выкинув из

обихода вагон-ресторан, враждебный в чужой стране, с винтовками охраны у подножек, —

— исчезли англичане, французы, французские проводники, начальником поезда ехал курьер с больными зубами, очень разговорчивый, появились несуразно одетые русские, курьеры, дипломаты, сотрудники учреждений столь же необыденные, как их названия — Индел, Весэнха, Внешторг, Гомза, Профобр, Центрэвак, —

— прокроив болота и леса прежнего российского Полесья, спутав часы, запутанные российскими декретами о новом времени, —

— все холоднее становилось, все больше снегу, все зимнее небо, и путалось время тремя часами вперед, чтобы спутать там дальше, в России — и ночи, и дни, и рассветы, — чтобы слушать американцам в необыденные часы рассвета непонятную, азиатскую, одномотивную песню проводника, на многие часы, валявшегося у себя в тендере на гробах дипломатических ящиков с поленом и фуражкой в головах, —

— поезд пришел в Целюпэ, к границе Р. С. Ф. С. Р.

В Целюпэ, на одинокой лесной станцийке, поезд нагнал эшелон русских иммигрантов из Америки в Россию. Небо грузилось, по-российски, свинцами, снег лежал еще зимний. Станция — стационарные постройки и домики за

ней—упиралась в лес, и лес же был напротив, вдали виднелся холм в сосновом боре, в лесу напротив шли лесные разработки, и станция была, как в Швеции, на северных дорогах, стояли елочки по дебаркадеру, дебаркадер был посыпан желтым песком. В деревенской гостинице, на скатертях в складках, из серого домашнего полотна, в плетеночках лежал черный хлеб, какого нет на материке Европы, и в комнатах пахло черным хлебом. Хозяйка в белом чепчике приносила деревенски-жирные блюда, в тарелках до краев, и в клетке у окна пел чижик. В восемнадцати верстах была граница Р. С. Ф. С. Р., город Себеж, кругом были холмы и болота, и болота Полесья, в лесах. Иммигранты возвращались на родину—из Америки. Еще—последний раз—пограничники осматривали паспорта. К сумеркам пошел снег. К сумеркам пришел из России, с Себежа, паровоз—баба (в России мешечники подразделяли паровозы на мужиков и баб, по звуку гудка,—бабы обыкновенно были товарными). Баба потащила вагоны. Баба первая рассказала о русской разрухе, ибо у той дощечки, где сердце каждого сжималось от надписи—граница,—текла внизу речушка в синих льдах и были скаты холма, а вдалеке внизу лежал поселок с белой церковью,—баба остановилась, и пассажирам предложили пойти грузить дрова. —

И Себеж встретил метелью, сумерками, грязью, шумом мешечников, воплями и матершиной на станции. Метельные стервы кружились во мраке, лизали, слизывали керосиновые

светы. Забирали винтовками, в вагоны влезли русские солдаты. Американец вышел на минуту, попал ногою в человеческий помет, на шпалах, и никак не мог растолковать, волнуясь, проводнику, что ему продезинфицировали башмаки. Задубасили поленом в стену, проорали, что поезд не пойдет до завтра, осадили на запасный путь, снова завопили, побежали мешечники с мешками, баба кричала:—„Дунька, Дунька, гуртуйся здесь!“—у пассажиров тихо спрашивали:—„Сpirту не продаешь ли?“—Метель казалась несуразной, снег шел сырой, на запасном, в тупике, когда толпа мешечников умчалась с воем,—стало слышно, как воет ветер, гудит в колесах, в тендере, как шарит сиротливо снег по стенам, у окон, шарахаясь и замирая. Американцы говорили о заносах в прериях. Приходившие стряхали мокрый снег. В вагонах стало холодно и сырьо, новый пришелся—над всей Россией веющий—запах аммиака, трипитиламина, пота. Был поздний час, за полночь никто не понимал, ложиться спать иль нет?

— И—тогда—пришли и сказали, что—в театре культ-просвета комсомола—митинг, предложили сходить.—Вот и все.—Во мраке—первый—русский—сразу покатился под колеса, сорвавшись с кучи снега, сваленной на шпалы, встал и сматершился добродушно. Попали в метель. У водокачки промочили ноги и слушали, как мирно льет вода из рукава, забытая быть завернутой. Не один, не два, а многие понесли на башмаках удушливые запахи. Англичанин освещал себе путь электрическим фона-

риком. В вокзале на полу в повалку, мужчины, женщины и дети, лежали пассажиры. Был уже час за полночь. Когда спросили, где комсомол,— рукой махнули в темноту, сказали: — „Вон тама. — Нешь не знаешь?“ — Долго искали, путаясь в шпалах, поленницах и мраке...

Барак (у входа у барака была лужа, и каждый попадал в нее во мраке) был сбит из фанеры, подпирался изнутри столбами. В бараке был, в сущности, мрак. Плечо в плечо, в безмолвии, толпились люди. На сцене, на столе, коптила трех-линейная лампенка,—под стрешни в фанерном потолке врывался ветер, и свет у лампы вздрагивал. На заднем плане на сцене висел красный шелковый плакат:—„Да здравствует Великая Рабочая и Крестьянская Русская революция“. У лампы за столом сидели мужики в шинелях и овчинных куртках. Театр из фанеры во мраке походил на пещеру. Говорил мужик в шинели,—не важно, что он говорил:

— Товарищи! Потому как вы приехали из Америки, этот митинг мы собрали, чтоб ознакомить вас, приехавших из Америки, где, сказывают, у каждого рабочего по автомобилю, а у крестьянина—по трактеру. У нас, товарищи, скажу прямо, ничего подобного нету. У нас, товарищи, кто иметь пуд картошки про запас,— спокойный человек. Для вас не секрет, товарищи, что на Поволжье люди друг друга едят. У нас колосональная разруха.—Н-но,—товарищи,—нам это не страшно, потому что у нас наша власть, мы сами себе хозяева. И нам известно, почему вы приехали из Америки, хоть у нас свиного сала и нет, не то—чтобы кататься на

автомобилях. У нас теперь власть трудовых советов, а для заграницы у нас припасен Третий Интернационал. Мы всех, товарищи, зовем итти с нами и работать,—нно,—товарищи,—врагов наших мы беспощадно расстреливаем.—Вот, товарищи, какие дизгазы и промблемы стоять перед нами.

Что-то такое, так, гораздо длиннее, говорил солдат. Люди, плечо в плечо, стояли безмолвно. К солдатским словам примешивался вой ветра. Лампенка чадила, но глаз привык ко мраку, и лица кругом были строги. Театр был похож на пещеру. Солдат кончил. Вот и все. За ним вышел говорить старик иммигрант.

— Дорогие товарищи, я не уполномочен говорить от лица всех. Я девятнадцать лет прожил в Америке,—не кончил, зарыдал,—выкрикнул:—Россия!—Его посадили к столу, плечи его дергались.

Двое—англичанин и русский филолог—вышли из театра—клуба комсомола, во мрак, в метель. Англичанин машинально пробрел по луже.—Да, иная Россия, иной мир. Англичанин поднял воротник пальто.

— Вас поразил митинг?—спросил англичанин.

— Нет. Что же—это советские будни,—ответил филолог.

Поезд стоял в тупике,—поезд вперед в Россию. Вот и все.

Вот и все.

Впрочем—вот, чтоб закончить главу, как вступление:—

— о неметельной метели.

5. О неметельной метели.

Я не знаю, как это зовется в народе. Это было в детстве, в России, в Можае. Это был, должно быть, сентябрь, начало октября. Я сидел на окне. Напротив был дом—купеческий, серый, дом Шишкных, направо площадь, за нею собор, где ночевал Наполеон. Против дома Шишкных, на углу стоял фонарь, на который в пожарном депо отпускалось конопляное масло, но который никогда не светил. Ветер был такой, что у нас повалился забор, у Шишкных оторвало ставню и сорвало железо с крыши, фонарь качался:—ветер был виден, он был серый—он врывался, вырывался из-за угла, нес с собой серые облака, серый воздух, бумажонки, разбитое решето, ветер гремел калитками, кольцами, ставнями—сразу всеми со всего переулка. Была гололедица, земля была вся в серой корке льда. Одежда на людях металась, рвалась, взлетала над головами,—люди шли, растопырив все конечности,—и у фонаря люди, сшибаемые ветром,—все до одного,—бесполезно стремясь ухватиться за столб, выбрасывая ногами крендели, летели вслед за решетом. Мой пapa, доктор, пошел в земскую управу, на углу он вскинул ногой, рукой хотел было схватиться за столб,—и еще раз вскинул ногой, сел на землю и дальше пополз на четвереньках, головою к ветру: ветер был виден. Мальчишки,—Васька Шишкин, Колька Цвелеv,—и тут нашлись: они на животах выползли в ветер, и ветер их тащил по ледяной корке.—Была гололедица, был страшный ветер, как Горыныч,—и все было серо, отливающее сталью: земля, небо, ветер, дома, воздух, фонарь. И ветер,—кроме того, был еще вольным.—Мама не пустила меня в тот день на улицу, мама читала мне „Тараса Бульбу“. Тогда, должно быть, сочинились стихи, оставшиеся у меня от древнего моего детства:

„— Ветер дует за окнами,
Небо полно тучь.

Сидим с мамой на диване.

— „Ханша, ты меня не мучь“.—

— Ханша —

это собака.—

1. С вышгорода—с Домберга, где старый замок, из окон Провинциального музея и из окон Польского посольства, виден весь город и совершенно ясны те века, когда здесь были крестоносцы и здесь торговали ганзейские купцы. Из серого камня под откосом идет стена, она вбита в отвес холма: Калеево, народный эпос, знает, что эта гора снесена по горстки—пращурами—рыцарями. Стена из серого камня упирается в серую башню, и башня как женская панталонина зубцами прошивки кверху. Домберг высок, гнездо правителей. На ратуше—на кирках бьют часы полдень, башни кирок и ратуши, готика, как застывшая музыка, идут к небу. Там за городом, во мгле—свинцовое море, древняя Балтика, и небо, седое как Балтика.—

— Этой ночью палили из пушек с батареи в бухте у маяка, ибо советский ледокол „Ленин“ поднял якоря и пошел без таможенного осмотра—в море, в ночь: без таможенного осмотра, и пушки палили перед его носом—в учебной стрельбе,—как сказано было в ноте, пользуясь ночным часом, когда не ожидалось кораблей. В посольстве говорили о контрабандистах, рассказывали, что в море, в Балтийском море, бесследно погибло пять кораблей, один эстонский, два финских и два шведских, были улики пиратства, подозревали, что пиратствуют российские моряки, Кронштадт,—и тогда же шептали о восстании корелов против России.—

— С вышгорода видны были снежные поля.

В башне, как женская панталонина, поэты, писатели и художники устраивали свой клуб, с именем древнего клича—Тарапита. В башне до поэтов жили совы. По стене шли еще башни, две рядом назывались—ТонкийFaуст и Толстая Маргарита: Толстую Маргариту, где была русская тюрьма, разгромили в 1917 году белою ночью, в мае.— В старом городе извозцы ездили с бубенцами, ибо переулки были так узки, что два извозчика не разъехались бы. Каждый закоулок должно было бы снести в театр, чтоб играть Эрика XIV, и Бокаччио мог бы украшать Декамерон стилями этих переулков. На острокрыших домах под черепицею еще хранились годы их возникновения: 1377, 1401, и двери во всех трех—кононных—этажах открывались прямо на улицу,—а на доме клуба черноголовых, древней купеческой гильдии, до сих пор из-под угла крыши торчало бревно с блоком, ибо раньше не было лестниц и во все три этажа поднимались с улицы по блоку на подъемной площадке, площадку на ночь оставляли под крышей и жили так: в нижнем этаже лавка и пивные бочки, в среднем—спальня и жена с детьми, в верхнем—склад товаров.— В полдень на кирках били колокола, из Домберга, из окон было видно, как помутнела Балтика и небо, и как идет метель на город.—Нет, не Россия.—

— В Толстой Маргарите была русская тюрьма. Россия правила здесь двести лет,—здесь, в древней русской Колывани.—Русский октябрь хряпнул по наковальне 1917 года:— Великая Россия Великой Революцией метнула в те годы, теми годами, искрами из-под наковальни,— Эстии, Латвией, Литвой,— и Эстии, Латвии, Литве,

в снегах, в морозах— суденышком всеми покинутым,— поплыть в историю, партизанствуя, отбиваясь друг от друга, от России, как от немцев, в волчьей мировой драке и русской смуте,—взорвать, как Бельгия, себя, свои болота и леса.—Россия метнула Эстии, Литвой, Латвией, монархией,— императорской культурой,— русской общественностью,— оставил себе советы, метели, раскопье, сектантство и муть самогонки,— а здесь в древне-Русской Колывани:

— торго-вали ви-ном, маслом, мясом, сардинками, всем, хе-хе-хе, в национальном государстве,—совсем как десять лет назад в России. Историк,—размысли. Поэты кликнули клич—Тарапита!

Культура—финско-нормандская. Средневековье смешалось с сегодня. Здесь запоют еще Калевича. Здесь есть рыцари-партизаны, которых чтут, которые своею кровью защищали свое отчество от немцев, от большевиков, от смуты. Здесь в башне Тарапита поэты, писатели и художники, рыцари в рыцарском зале—бокалом вина, бочкой пива величали на родном своем языке, встречая русского, бежавшего от родины, писателя: они на родном своем языке говорили о своей нации, о своей борьбе за свой национальный быт и за демократию,—переводчик переводил,— русский писатель ответил по-русски, и его речь перевели,—тогда пили бокалы и кубки:

— и все вместе потом стали русские петь студенческие песни о том, как „умрешь,—похоронят“—

—здесь женщины, чтобы помолодеть, мажут лицо какою-то змеиною едкою мазью, и с лица сходит кожа, растет новая, молодая и женщина молодеет.—

— А где-то

в другом месте, за тысячи верст и отсюда и от России,—

от русской земли,—два человека, русских два писателя,—в воскресный

день, в заполдни,—рылись в вещах,—и они нашли коробочку, где была русская земля,—не аллегория, не символ,—а просто русская наша

земля,—сероватый наш русский суглинок, увезенный в коробочке за тысячи верст:—и ах как тоскливо

стало обоим, такая тоска по земле! Тогда перезванивали колокола на кирке,

и они не слышали их: они были два русских изгоя. Хряпнул октябрь не только

октябрьскими слезами Эстии, Литвы и Латвии: если себе Россия оставила только советы и смуту, метель и распопшину, то

те, кто не хотел русской муты, метели и смуты, кто ушел от России—тот вне России: фактически.

Имя им—изгои. В те годы было много Кобленцев.— И: просто русский сероватый наш суглинок.

а—

Ресторан, лакеи, фраки, смокинги, крахмалы, дамы, оркестр румын.—

— Встaaаать!

— Смиииринааа!—

„Боже, царя хрании,—

„Сииилы, державный—

в-с-d-e-f

h—

Улица, перекресток, там вдали клуб черноголовых, здесь ратуша и на ней часы показывают одиннадцать дня, морозный день.

— Полковник Саломатин? — это басом, обветренным многими ветрами.

— Никак нет, изволите ошибаться.

— Очень жаль, о-чень жаль! —хотя, впрочем,—очень приятно...— Я полковнику Саломатину должен дать в морду, — в морду-с! — он предатель отечества... С кем имею честь?—извольте представиться: ротмистр русской службы Тэнзигольский.—Очень похожи на полковника Саломатина,— он предался большевикам!—

— Куда изволите итти?

— Ах, пустяки,—надо зайти на перепутьи выпить рюмку водки.— И потом, в ресторане, после многих рюмок:

— Вы, конечно, коллега, заплатите?.. Э-эх, прос... Россию, все, все вместе, сообща. Что говорить.— И бас, в обветренный всяческими ветрами, не умеет быть тихим,—а глаза, также обветренные, смотрят в стол.—

k-m—

руссская же ё, фита, отмененная,

отменимая, новым правописанием в России,—будет, есть в конце русской абевеги.—

2. Шахматы без короля.

В полдни с. вышгорода видно, как идет метель. Полдни. У крепостной стены, около шведской церкви из гранита, наполовину врытой в землю,—дом, в котором жили—когда-то—шведские гильдейцы. В этом доме гостиница теперь: „Черный Ворон“. В последнем этаже гостиницы, где раньше гильдейцы—шведы хранили свой товар,—последние—за тридцать—номера, вход на чердак, комнаты для оберов и фреккен, потолок почти в уровень с головой и в узких окнах черепицы крыши соседних зданий. С полдня и всю ночь—из ресторана внизу—слышна музыка струнного оркестра. Здесь живет богема, голтепа, все комнаты открыты. Здесь проживает русский князь—художник, три русских литератора, два русских офицера, художники из Тарапита,—здесь бывают студенты—корпоранты, партизаны, офицера национальной и прежней русской армий, министры, губернаторы, поэты.—И в тридцать третьем номере,—в подштанниках с утра играют двое партию в шахматы, начатую вчера,—русский князь—художник и русский офицер. На столе у шахмат ужин на подносе, а на кровати, где свалены пальто, спит третий русский. На столике и под столом бутылки из-под пива, стаканы, рюмки, водка. Князь и офицер сидят склонившись к шахматной доске, они играют с ночи, они долго думают, они долго изучают шахматную доску, их лица строги. На чердаке безмолвие, тепло, за окнами зима. Безмолвно иной раз проходит фрекken с ведерком и щеткой, в крахмальном белом фартучке,—и навощенный пол и крашеные стены в морозном желтом свете блестят, как им должно блестеть в горнице у бургера.

Двое за шахматами безмолвны, они изредка—по глотку—пьют помесь пива с водкой.

Тогда приходит, запущенный снегом, ротмистр Тензигольский. Он долго смотрит в шахматную доску, бекешу сваливает на спящего, садится рядом с игроками и говорит недоуменно князю:

— Да как же ты играешь так?

— А что?

— Да где же твой король?

Ищут короля. Короля нет на шахматной доске: король вместо пробки воткнут в пивную бутылку.—Мешают шахматы, толкают спящего и расходятся по комнатам—ложиться спать. Фрекken убирает комнату—моет, чистит, отворяет окна в ветер—каждый день из стойла превращает фрекken комнату в жилище мирное, как бедный бургер.

Ротмистр Тензигольский спускается по каменной лесенке, выбитой в стене,—вниз; в ресторане уже надрывается оркестр, и скрипки кажутся голыми, обера во фраках, бывшие офицеры русской армии, разносят блюда. Ротмистр Тензигольский у стойки, по привычке, пьет рюмку водки и идет в метель, в кривые тупички улиц, где трое расходятся с трудом.—Князь Паша Трубецкой, грузясь в муты сна, сквозь сон слышит, как в шведской церкви—не по-русски—медленно вызывает колокол.—Во французской миссии Тензигольский долго ждет начальника контр-разведки, скучает, а когда начальник приходит, рапортует ему о сысковом. Начальник пишет чек.—

Есть закон центробежных и центростремительных сил, и другой закон, тот, что родящими, творящими будут лишь те, кто связан с землей, с той землей, с суглинком, над которым плакали где-то два писателя. И еще: первейшая связь с землей у людей—есть дети и женщины, несущие плод. Но по закону центростремительной силы (метель кружит?)—откинуты те, единицы, которые весят

и умеют весить больше других: историки „Истории Великой Русской Революции“ в главе „Русская эмиграция“ рассказали, что русский народ поистине богоносец и что подвигничество Серафима Саровского — было, было, пусть это и не главное,—а главное:

— „Очень жаль! очень жаль! — хотя, впрочем, очень приятно. Я полковнику Саломатину должен дать в морду, — в морду-с — он предался большевикам!“

Во французской контр-разведке тайный агент ротмистр русской службы Тензигольский получил чек. Из французской контр-разведки ротмистр Тензигольский —трансформировавшись в полковника Саломатина — без всякой мистической силы из Тензигольского став Саломатиным — пошел в Вышгород, в польскую контр-разведку. Мальчишки на коньках и на шведских санках, на которых надо толкаться одной ногой, обгоняли ротмистра-полковника Тензигольского-Саломатина. У поляков полковнику Саломатину говорят:

— Сюда приезжает из России красноармейский офицер, шпион, — Николай Растворов. —

Глаза полковника Саломатина, обветренные многими ветрами, лезут из орбит.

— Как? — так слушаюсь. —

3. Шахматы без короля.

Странные бывают совпадения — иному все совпадения полны мистического смысла. За Домбергом, за станцией в стройных деревцах, в домике шведского стиля, — в перлюстрационном — черном — кабинете работали двое. Письма были обыденны, труд был обыденен, оба трудившихся были русские, русский генерал и российский почтово-телеграфный чиновник. Генерал, Сергей Сергеевич

Калитин, наткнулся на посылку, в бандероли была серия порнографических открыток. Генерал прочел имя адресата — князь Павел Павлович Трубецкой, — генерал убрал открытки к себе в портфель, изничтожив бандероль. Павлу Павловичу Трубецкому был кроме того денежный пакет. Ротмистру Тензигольскому глухо сообщалось из России, что должен приехать Николай Растворов. Несколько писем было Лоллию Львовичу Кронидову и от Лоллия Львовича: брат писал о том, как восторженно встречали Врангеля в Белграде; Лоллий Львович писал брату, что в России людоедство, большевики деморализованы, власти на местах нет, власть падает, всюду бунты, восстание корелов превращается в национальный крестовый поход за Россию, в Балтийском море пиратствуют советские суда из Кронштадта, Россия же, где людоедство, оказалась неким бесконечным пустым пространством, где на снегу, чуть прикрытые лохмотьями, были люди из каменного века, волосатые, с выросшими челюстями, с пальцами на руках и ногах как прудовые каряги, при чем около одних, сидящих, кроме ржаной каши и конины, лежали — у каждого по пять ноганов, по пять винтовок, по пять пулеметов и по одной пушке, — другие же люди, безмерное большинство, лежали или ползали на четвереньках, разучившись ходить, и ели друг друга. И еще Кронидов писал — в другом уже письме, — что ему выпало прекрасное счастье — полюбить, он встретил прекрасную девушку, чистую, целомудренную, милую. —

— ...В России — в Великий пост — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут после дневной россыпели ручьи под ногами — как в июне в росные рассветы, в березовой горечи, — сердце кто-то берет в руки, — сердце на-

полнено,—сердце трепещет, и знаешь, что это мир, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой, так же тесно, как сердце в руке,—и мир, земля, кровь, целомудрие (целомудрие, как берёзовая горечь в июне)—одно: чистота.—Это— девушка.

Вот отрывки из письма о приезде Врангеля:

„Этот день был истинным праздником для Белграда. С утра начались хлопоты об освобождении от занятий в разных учреждениях, и к часу дня к вокзалу тянулись толпы народа. Российский посланник с Чинами Миссии, Члены Русского Совета Национального Центра, Штаб Главнокомандующего в сопровождении многочисленных генералов и офицеров, участников Крымской кампании, представители беженских организаций, русские соколы в качестве почетного караула, множество дам,—все явились на вокзал, все слились в общем сознании единства, вызываемом чувствами любви и уважения к Вождю Русской Армии П. Н. Врангелю“.—

После двух, после службы, генерал Сергей Сергеевич Калитин пошел домой, за город, к взморью, в дачный поселок. Короткий день сваливал уже к закату, мела метель, дорогу, шоссе в липах, заметали сугробы, обгоняли мальчишки на шведских саночках, мчащиеся с ветром, спешили к морю кататься на буйках. Дача стояла в лесу, в соснах, двухъэтажная, домовитая. Под обрывом внизу было море, на льду, на буйках мчали мальчишки. У обрыва, у моря встретила дочь,—завидев,

побежала навстречу бегом, ветер обдул короткую юбку, из-под вязаной шапочки выбились волосы, рожь в поле на закате щек: вся в снегу, в руках палка от лыж, девушка—девочка, как берёзовая горечь в июне рассветом, семнадцатилетняя Лиза. Крикнула отцу:

— Папочка, — милый, — а я все утро — в лесу — на лыжах. —

Море слилось с небом, горбом изо льдов бурел ледокол „Ленин“. По берегу, за дачами, вокруг дач, стояли сосны. Старшая дочь, Надежда, в пуховом платке, отперла парадное, запахло теплом, нафталином, шубами, к ногам подошел, ткнулся в ноги сен-бернар. Свет был покоен, неспешен. В доме, в тепле не было никакой метели. Генерал по коврам прошел в кабинет, замкнул портфель в письменный стол. С сен-бернаром вбежала Лиза, от резкого движения мелькнули панталоны.

— Папочка, — милый — обедать — мама зовет.

Генерал вышел в столовую, к высоким спинкам стульев, глава семьи.

4. Шахматы без короля.

— Слушайте, Лоллий Львович, ведь это чорт знает что. Вчера я был с визитом у министра,—сегодня об этом трезвон, как об карманном воровстве,—и мне уже отказано от дома у министра, потому что я был сегодня с визитом у русской миссии.

— Не в русской, а большевистской.

— Ах, чорт. Да нет же никакой другой России, Лоллий Львович.

— Нет, есть. Я — гражданин России, Великой, Единой, Неделимой.

— Да нет такой России, рассудите, Лоллий Львович.— А третьего дня я был у эс-эров и в русской миссии мне

намекали на это, что этого я делать не имею права. А у эс-эров: справлялись: не чекист ли я? Чорт бы всех побрал. Дичайшая какая-то сплошная контр-разведка.

И Лоллий Львович загорается, как протопоп Аввакум. Он говорит, и слова его, как угли.

— Да, гражданин Великой, Единой, Неделимой,— и пусть все уйдут, один останусь,—проклинаю!—Нет, вы не правы. Вы, конечно, и большевик, и чекист, и предатель отечества. Это все одно и то же. Вы приехали с большевистским паспортом. Стало быть, вы признаете большевиков,—стало быть, вы их сообщник. Или еще хуже: вы отрицаете, что вы коммунист, вы скрываете,—стало быть, вы — их тайный агент! Вы не отказываетесь от большевистского паспорта, а иметь его—позорно.

У Раствора глаза ползут на лоб, таращаются по-тензигольски, он ежится по-лермонтовски кошкой и — кричит неистово:

— Убью! Молчи! Не смей!—Пойми! Дурак,—я голол, разруху, гражданскую войну на своем горбу перенес. Я — сын русского губернатора. У вас свободы, — а свободы меньше, чем у большевиков.

И Лоллий:

— Вы были в армии Буденного?

— Да, был — и был полячишком, и всякую сволочь. К чорту монархистов без царя и без народа.

Несспешная, под орех крашеная дверь на чердаке, где раньше был склад шведских гильдийцев, — умеет громко хлопать. Николай Раствор — в беличьей куртке и в кепке из беличьего меха, и ноги у него кривые, в галлифе и лаковых сапогах, а голова — тяжелая, большая — и глаза обветрены не малыми ветрами. — А Лоллий Львович, в халатике, с лицом, уставшим от халата, с бородкой клинушком, — человек с девичими руками, — на диванчике в углу, один, — как протопоп Аввакум.

— И вы тоже — к чорту — к чорту — к чорту. —

Пять дней назад, в Ямбурге, из России выкинуло человека, счастливейшего, — Николая Раствора! — офицера-кавалериста, обалдевшего от восьми лет войны, ибо за эти годы он был и гусаром его величества, и обитателем московского манежа, и командиром сотни корпуса Буденного, и сидельцем Вечека — кандидатом в Энчека — чрезвычайную комиссию небесную, — но в России Лермонтовы — повторяются ведь, и он, романтик, казался хорошим Лермонтовым. В „Черном Вороне“ у шведской церкви было тепло, за окнами, за черепичатой крышей, высилась шведская кирка, и звон колокольный грузился в муть. Лоллий Кронидов, человек с девичими руками, долго сидел над кипой газет, составляя телеграммы.

5. Пятьсот лет.

а. — За Толстой Маргаритой, — как женская панталона зубцами прошивки кверху, — где склонился к Толстой Маргарите Тонкий Фауст, за серой каменной городской стеной у рва, в проулочке, столь узком, что из окна в окно в третьих этажах — через улицу — можно подать руку (там, наверху, за острокрышими черепицами, белое небо), — в проулочке здесь — древний дом. Дубовая дверь, кованая железом, открывается прямо в проулок; за дверью, выбитая в стене, идет каменная лестница во все три этажа. Дом и дубовая дверь позеленели от времени. Черепичатая крыша буреет. Дом сложен из гранита. В этом доме — в этом самом доме — пятьсот лет подряд ежедневно, еженощно, пятьсот лет день в ночь и ночь в день (об этом написана монография) был и есть публичный дом. Об этом написана целая монография, — это, конечно, тоже культура. Внизу в доме всего одна комната — рыцарский зал со сводчатыми потолками; в друг

гих двух этажах—стойльца девушек и по маленькому зальцу. В стрельчатых окнах решетки, и стекла в окнах оранжевые. Этот дом прожил длинную историю, он всегда был аристократическим, и в древности в него пускали только рыцарей и купцов первой гильдии: в нижнем, в рыцарском зале, у голландской печи, добродетельной и широкой, как мать добродетельного голландского семейства, в изразцах, изображающих корабли и море, еще сохранились те медные крюки, на которые вешали рыцари — для просушки — свои ботфорты, коротая здесь длинные ночи — за костями, за картами, за бочкой пива. У стены, где, должно быть, был прилавок, еще осталась решетка, куда ставили шпаги. Здесь был однажды с величайшим своим Меньшиковым русский император Петр I. Из поколения в поколение, почти мистически, сюда приводились девушки в семнадцать лет, чтобы исчезнуть отсюда в неизвестность к тридцати годам. Этот гранитный дом жил необыденной жизнью. Днем, когда через оранжевые стекла шел желтый свет, он был мирен и тих, как мирный бургер, почти весь день в нем спали. Иногда здесь задневывали мужчины или заходили днем, чтобы донести долг: тогда они ходили по всем трем этажам, рассматривали памятники старины, толковали товарищески с проститутками, проститутки, как добрые хозяйки, приглашали выпить кофе, уже бесплатно, показывали фотографии своих отцов и матерей и рассказывали историю дома, так же знаемую и столь же поэтическую, как фотографии отцов и матерей.—Стародавние времена прошли, публичный дом в пятьсот лет крепким клыком врос в нумизматику столетий, рыцари и гильдейцы исчезли,—остались лишь крюки для рыцарских ботфортов,—и в этом публичном доме их заменила богема.

— Романтикам: романтизировать. Мистикам: мистифицировать. Поэтам: петь.

Прозаикам: трезветь над прозой.—

— Публичный дом в пятьсот лет. Сколько здесь было предков, дедов, отцов, сыновей — и внучат, правнуоков? — Сколько здесь девушек было? — Пятьсот лет публичного дома — это, конечно, и культура, и цивилизация, и века.

b.—А над древнею русскою Колыванью, над публичным домом в пятьсот лет, над „Черным Вороном“ — метель. Ветер дует с Балтики, от Финского залива, от Швеции, гудит в закоулках города, который надо, надо бы взять в театр, чтобы играть Эрика XIV и которым мог бы Бокаччио украшать Декамерон.—Это знают впольской миссии.—Ветер гудит в соснах у взморья. Город сзади, здесь — сосны, обрыв и под обрывом мутный, тесный простор Балтики.—Лиза Калитина — в доме, в зале (в зале линолеумовый пол, в нем холодком — отражаются белые окна) — Лиза Калитина стоит среди комнаты, девушка, как березовая горечь в июне в рассвете, волосы разбились, руки в боки, носки туфлей врозь, — что же — молодой зеленый лук? или шахматная королева на шахматной доске квадратов линолеума? — горький зеленый лук! — Старшая Надежда, в щели на плечах и с концом волос по полу, с книгой в руке, идет мимо. Лиза говорит:

— Наденька, — метель. Пойдем к морю.
И Лиза Калитина одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море: — здесь под обрывом льды — там далеко свинцы воды, — и там далеко над морем мутный в метели красный свет уходящей зари. Снежные струи бегут кругом, кружатся около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются. Поколена в снегу, ног в снегу и под юбкой не видно: что-

бы срастись со снегом.— „Это я, я“.— Снег не комкается в руках, его нельзя кинуть, он рассыпается серебряной синей пылью.— Разбежаться: три шага, вот от этой корявой сосны,— и обрыв, упасть под обрыв, на льды— —

— В „Черном Вороне“, князь Павел Павлович Трубецкой, проснувшись в 31-ом своем номере, в пижаме, моется, бреется, душится, разглаживает редеющий свой пробор, чуть-чуть кряхтит, шнуруя ботинки.— Князь вспоминает о партии в шахматы без короля. Князь звонит, просит сельтерской: в тридцать девятом номере, напротив,— громкий спор о России. Сельтерская шипит, охлаждает.

— Какая погода сегодня?

— Метель, ваше сиятельство.

— Ах, метель, хорошо. Ступайте.—

Шведская церковь мутнеет в метели, в сумерках. Лоллий Кронидов проклинает Россию, страну хамов, холуев и предателей, гудят незнакомые басы: клуб и хождение в третьем этаже уже начались. Князь перелистывает „Ноа-Ноа“ Поля Гогена:— ту работу, которую князь начал пол-года назад, нельзя кончить, потому что не хватает дней. За стеною— кричат, несколько сразу, злобно, о России. Князь идет вниз, в ресторан, выпить кофе. Оркестр играет аргентинский танец, скрипки кажутся голыми. Уже зажгли электричество. Обер— русский офицер— склоняется почтительно. Князь молчалив. — —

— Надежда Калитина, старшая, идет по всем комнатам, таща за собой шаль и книгу; в кабинете спит отец, надо будить к чаю;— из мезонина— в сумерках— видно мечущиеся верхушки сосен.— „Все ерунда, все ерунда“.— —

— По сугробам, зарываясь в снегу,— к обрыву,— к Лизе,— бежит сен-бернар,

Лизин друг. Лиза треплет его уши, он кладет лапы ей на плечи и целит лизнуть в губы. Они идут домой, Лиза стряхивает снег— с шубки, с платья, с ботинок, с шапочки.— Дом притих в первой трети вечера. Внизу, в гостиной на диване вдвоем сидят старшая Надежда и князь Павел Павлович Трубецкой. Лиза кричит:

— А-а, князь, князька! я сейчас,— и бежит наверх, снять мокрое белье и платье.

Надежда знает, что губы князя— терпкое вино: самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком. Разговор, пока Лиза наверху, короток и вульгарен. Здесь не было камина и помещичьей ночи, хоть и был помещичий вечер, коньяк не жег холодом, от которого ноют зубы и который жжет коньяком,— здесь не утверждался— Иннокентием Анненским— Лермонтов, но французская пословица— была та же.

— Ты останешься у нас ночевать?— Останься.— Я приду.

— Знаете, Надин, все очень пошло и скучно. Мне все надоело. Я запутался в женщинах. Я очень устал— — Лиза сбегает— ссыпается— с лестницы.

— Лиза Калитина, здравствуйте.

— Здравствуйте, князька!— а я была у обрыва,— как там гудит ветер! После ужина пойду опять,— пойдемте все! Так гудит ветер, так метет,— я вспомнила нашу нижегородскую.

Надежда сидит на диване с ногами, кутается в шаль: Лиза садится в кресло, откладывается к спинке,— нет, не шахматная королева,— зеленая стрела зеленого горького лука. Князь расставил ноги, локти опер о колени, голову положил на ладони.

— Я задумал написать картину,— говорит князь,— молодость, девушка в саду, среди цветущих яблонь,— удивительнейшее, прекрасное— это когда цветут яблони,—

девушка тянется сорвать яблоновый цвет, и кто-то, негодяй, вожделенно—смотрит на нее из-за куста:—пол-года, как задумал, сделал эскиз—и не хватает времени как-то... Очень все пошло...

— Обязательно пойдем после ужина к обрыву,—это Лиза.

— Что же, пойдемте,—это князь.

Из кабинета приходит генерал, кряхтит — добрый хозяин—здравствует, шутит:—давно не виделись, надо выпить коньячишка,—Лизе надо распорядиться, чтобы мама позаботилась об ужине повкуснее. За ужином князь чувствует, как тепло водки разбегается по плечам, пошее, — привычное, изученное тепло алкоголя, когда все кругом становится хрупким и стеклянным, чтобы потом — в онемении — стать замшевым. Генерал шутит, рассказывает, как мужики в России лопатки, те, что на спине, называют крыльями: от водки всегда, первым делом, тепло между крыльями; Лиза торопит идти к обрыву,—и князю нельзя не пойти, потому что в метели есть что-то родное яблоновому цвету — белым снегам цветения яблонь. Генерал недовольно говорит, что ему надо поsekretничать с князем. Надежда повторяет:— „я иду спать, пора спать“—

Сосны шипят, шумят, стонут. Ничего не видно, снег по колена. У обрыва ветер, невидимый, бросается, хватает, кружит. С моря слышно — не то воет сирена, не то сиреною гудит ветер. Князь думает о яблоновом цвете, гуляет тепло алкоголя между обескрылых крыльев. Там, у обрыва, стоят молча. Слушают шипение сосен. Лиза стоит рядом, плечо в плечо. Лиза стоит рядом, князь берет ее за плечи, поднимает ее голову, заглядывает в глаза, глаза открыты, Лиза шепчет:— „Как хорошо!“ — князь думает минуту, минута как вечность, — князь тоже шепчет: „моя чистота“ — и целует Лизу в губы; губы

Лизы теплы, горьковаты, неподвижны. Они стоят молча. Князь хочет прижать к себе Лизу, она неподвижна, — „моя милая, моя чистота, мое целомудрие“—

— Пойдемте домой, — говорит Лиза громко, глаза ее широко раскрыты, — я хочу к маме.

Лиза идет впереди, почему-то очень деловито. Из прихожей генерал зовет князя к себе в кабинет. Лиза проходит наверх, Надежда стоит у окна в ночном халатике.

— Князь пошел спать? — спрашивает Надежда.

Генерал закрывает двери кабинета поплотнее, крякает.

— Видите ли, князинька, хочу вам показать — не купите ли —

Генерал показывает князю серию порнографических фотографий, где мужчины и женщины в масках иллюстрировали всяческие человеческие половые извращения, — и князь краснеет, сизеет мучительно, ибо на этих фотографиях он видит себя, тогда в Париже, после Константинополя и Крыма, спасшего себя этим от голода.—

Генерал говорит витиевато:

— Видите ли — нужда — жалованья не хватает — дети, дочери — вам — художнику —

Лермонтов не подтверждается Анненским этой мечтательной ночью. На самом ли деле, самое вкусное яблоко — это то, которое с пятнышком? —

Лиза — наверху в мезонине — говорит Надежде, — Лизу Калитину впервые поцеловал мужчина, Лиза Калитина, как горечь березовая в июне, — Лиза говорит Надежде, — покойно, углубленно, всеми семнадцатью своими годами:

— Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю.

У Надежды, — нет, не ревность, не оскорбленность женщины, — любовь к сестре, тоска по чистоте, по правде,

по целомудрию, по попираемой — кем-то — какой-то — справедливости, — сжали сердце и кинули ее к Лизе — в объятия, в слезы —

а—б—

с—

Нет, не Россия. Конечно культура, страшная, чужая, — публичный дом в пятьсот лет, за стеной, у Толстой Маргариты и Тонкого Фауста. Внизу у печки, еще хранятся медные крюки для рыцарских сапог. В „Черном Вороне“ — была же, была шведская гильдейская харчевня. —

— Над городом метель. В публичном доме тепло. Здесь — богема теперь, вместо прежних рыцарей. Две девушки и два русских офицера разделись донага и танцуют голые ту-стэп: голые женщины всегда кажутся слишком коротконогими, мужчины костлявы. Музыки нет, другие сидят за ликером и пивом, воют мотив ту-стэпа и хлопают в ладоши, — там, где надо хлопать смычком по пианино. Час уже глубок, много за полночь. — Иногда по каменной лестнице в стене, парами уходят наверх. Поэт на столе читает стихи. И народу, в сущности, немного, — в сущности, сиротливо, — и видно, как алкоголь — старинным рыцарем, в ботфортах — бродит, спотыкаясь, по сводчатому несветловому залу. — Ротмистр Тензигольский сидит у стола молча, пьет упорно, невесело, глаза обврены — не только ветрами, и ночи трудились в обветривании. Местный поэт с русским поэтом весело спорят о фреккен из „Черного Ворона“, — русский поэт, на пари, заберется сегодня ночью к ней: к сожалению, он не учитывает, что в „Черный Ворон“ вернется он не ночью, а утром, после кофе у Фрайшнера. — Николай Растворов, еще с вечера угодил в этот дом, с горя, должно быть, — и как-то случайно уснул возле девушки: — в нижней ру-

башке, в помочах, в галлифе и женских туфлях, он спускается сверху, смотрит угрюмо на голос спинных и голов животных четверых танцующих, подходит к поэтам и говорит:

— Ну, и черт. Это тебе не Россия. Заснул у девки, а карманы — не чистили. Честность. — Сплошной какой-то пуп-дом. Я успел тут со всеми перепиться — и на ты, и на мы, и на брудер-матер. Не могу. Собираюсь теперь снова выпить на вы, послать всех ко — е — вангелейшей матери и вернуться в Москву. Не могу, — самое главное: контр-разведка. Затравили меня большевиком. Честность..

— Ну, и черт с тобой, — брось, выпей вот. На все — наплевать. — Даешь водки!

Ротмистр Тензигольский встает медленно, — трезвея, должно быть, — всползая вверх по изразцам печи, — ротмистр царапает затылок о крюк для ботфортов, глаза ротмистра — растеряны, жалки, как головы галчат с разинутыми ртами.

— Сын — Николай...

И у Николая Растворова — на голове галченка: — тоже два галченка глаз, удивленных миру и бытию.

— О — отец?.. Папа! —

— Утром в публичном доме, в третьем этаже, в маленькой каменной комнате, как стойло, — желтый свет. Здесь за пятьсот лет протомились днями в желтом свете тысячи девушек. В каменной комнате — нет девушки, здесь утром просыпаются двое, отец и сын. Они шепчутся тихо.

— Когда наступала северо-западная армия, я ушел вместе с ней из Пскова. Запомни, — губернатор Растворов убит, мертв, его нет, а я — ротмистр Тензигольский, Петр Андреевич. Запомни. — Что же, мать голодает, все по-

прежнему на Новинском у Плеваки? — А ты, ты — в че-ке работаешь, чекист?

— Тише... Нет, не в чеке, я агент Коминтерна, брось об этом. Мать — ничего, не голодает. О тебе не имели сведений два года.

— Ты что же, — большевик?

— Брось об этом говорить, папа. Сестра Ольга с мужем ушла через Румынию, — не слыхал, где она?

— Оля, — дочка?.. — о, Господи!

Пятьсот лет публичному дому — конечно, культура, почти мистика. Шопот тих. Свет — мутен. Два человека лежат на перине, голова к голове. Четыре галченка воспаленных глаз, должно быть, умерли —

Ночь. И в „Черном Вороне“, в тридцать девятом номере — тоже двое: Лоллий Львович Кронидов и князь Павел Павлович Трубецкой. В „Черном Вороне“ тихо. Оркестр внизу перестал обнажаться, только воют балтийские ветры, седые, должно быть. Лоллий — в сером халатике, и из халата клинышком торчит лицо, с бородою — тоже клинышком. Князь исповедывается перед протопопом Аввакумом, князь рассказывает о Лизе Калитиной, о парижских фотографиях, о каком-то конном заводе в России. —

... Где-то в России купеческий стоял дом — домовина — в замках, в заборах, в строгости, светил ночам — за плавающих и путешествующих — лампадами. Этот дом погиб в русскую революцию: сначала из него повезли сундуки с барахлом (и вместе с барахлом ушли купцы в сюртуках до щиколоток), над домом повиснул красный

флаг и висли на воротах вывески — социального обеспечения, социальной культуры, чтобы предпоследним быть женотделу (отделу женщин, то-есть), — последним — казармам, — и чтобы дому остаться, выкинутому в ненадобность, чтобы смолкнуть кладбищенски дому: дом раскорячился, лопнул, обалдел, все деревянное в доме сгорело для утепления, ворота ощерились сучьи, — дом таращился, как запаленная лошадь —

— И нет: — это не дом в русской разрухе, — это душа Лоллия Львовича — в „Черном Вороне“, ночью. — Но в запаленном, как лошадь, каменном доме, — горит лампада:

— В Великий пост в России — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручки под ногами, — как в июне в росные рассветы в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет и кажется, что смотришь на солнце через закрытые веки) — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой. —

— Эта свечка: Лиза Калитина.

Ночь. Мрак. „Черный Ворон“.

— Ты понимаешь, Лоллий, она ничего не сказала. Я коснулся ее, как чистоты, как молодости, как целомудрия; целуя ее, я прикасался ко всему прекрасному в

мире.—Отец мне показал фотографии: и меня мучит, как я, нечистый,—нечистый!—посмел коснуться чистоты...

— Уйди, Павел. Я хочу побывать один. Я люблю Лизу. Господи, все гибнет...—Лоллий Львович был горек своей жизнью, он был фантаст,—он не замечал сотен одеял, воткнутых во все его окна,—и поднятый воротник—даже у пиджака—шанс, чтоб не заползла вошь. Но—он же умел: и книгам подмигивать, сидя над ними ночами,—книгам, которые хранили иной раз великолепные замшевые запахи барских рук.—

Ночь. Мрак. „Черный Ворон“.

Фита.—

В черном зале польской миссии, на Домберге,—темно. Там, внизу, в городе—проходит метель. В полях, в лесах над Балтикой, у взморий—еще воет снег, еще кружит снег, еще стонут сосны,—не разберешь: сирена ль кричит на маяке или ветер гудит,—или подлинные сирены встали со дна морского. Муть. Мгла. И из муги так показалось—над полями, над взморьем, как у Чехова черный монах,—лицо мистера Роберта Смита, как череп,—не разберешь: двадцать восемь или пятьдесят, или тысячетение: на ресницах, на веки, на щеки—иней садится, как на мертвое: лицу ледянистый коньяком—в морозе черепов, и коньяк—пить из черепа, как когда-то Олеги.—

— В черном зале польской миссии темно. Полякам не простить — Россию: в смутные годы, смутью и мутью,—сходятся два народа делить неделимое. В Смутное время воевода Шеин бил поляков под Смоленском, и в новую Смуту в Россию приходили поляки к Смоленску. Не поделить неделимое и — не найти той веревочки, которой связал Россию и Польшу — в смутах — чорт. В черной миссии — в черном

зале в вышгороде — в креслах у камина сидят черные тени. О чём разговор?

В публичном доме, которому, как мистика культуры, пятьсот лет — танцует голая девушка, так же, как — в нахт-локалах — в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Риме,— тоже так же танцевали голые девушки под музыку голых скрипок, в электрических светах, в комфортабельности, в тесном круге крахмалов и сукон мужчин, под мотивы американских дикарей, ту-стэп, уан-стэп, джимми, фокстрот. Как собирательство марок с конвертами, промозглая дрожь одиночества таили в себе эти танцы, в крахмалах и сукнах мужчин,—недаром безмолвными танцами на асфальте улиц началась и кончилась германская революция,—чтоб к пяти часам во всей Европе бухнуть кафэ, где джимми, и где женщины томили, топились в узких рюмках с зеленым ликером, в плоти, в промозгости ощущений,—чтоб вновь разбухнуть кафэ и диле к девяти,—а в час за полночь, вочных локах, где женщины совсем обнажены, как Евы, в шампанском и ликерах,—чтоб мужчинам жечь сердца, как дикари с Кавказа жарят мясо на шашлычных прутьях, пачками, и сердца так же серы, как баранье шашлычное мясо, политое лимонным соком. Ночные диле были уbrane под дуб, днем мог бы заседать в них парламент, но по стенам были стойльца и были диваны, как в будуарах, ярко горело электричество,—были шампанское, ликеры, коньяки,—в вазах на столах отмирали хризантемы, оркестранты, лакеи и гости-мужчины были во фраках,—и было так: голая женщина с подкрашенным лицом, с волосами, упавшими из-под диадемы на плечи,—матовы были соски, черной впадиной — лобок и чуть розовели колени и щиколотки,—женщина выходила на середину, кланялась,—было лицо неподвижно,—и женщина начинала склоняться в фокс-троте—голая—в голом ритме скрипок: голая жен-

щина была, в сущности, в сукнах фраков мужчин. — —

— И

еще можно было видеть голых людей — так же — даже — ночами. В Риме — Лондоне — Вене — Париже — Берлине — в полицей-президиумах — в моргах — лежали на цинковых столах мертвые голые люди, мужчины и женщины, дети и старики, — в особых комнатах на стенах были размещены их фотографии. Все неопознанные, бездомные, нищие, без руки и племени, — убитые на проселках, за городскими рвами, на перекрестках у ферм, умершие на бульварах, в ночлежках, в развалинах замков, выкинутые морем и реками, — были здесь. Их было много, еженощно они менялись. — Это задворки европейской цивилизации и европейских государств, — задворки в тупик, в смерть, где не шутят, но где последнего даже нет успокоения, где одноко, промозгло, страшно, — нехорошо, — но, быть может, в этом тоже свой фокс-тrot и ужимки джимми? — неизвестно. Здесь социальная смерть. В морг итти слишком страшно, там пахнет человеческим трупом, запахом, непереносимым человеком, так же, как собаками — запах собачьего трупа, — там во мраке бродят отсветы рожков с улиц, — в моргах рядами стоят столы, в моргах мороз, чтобы не тухнуло — медленно тухнуло — мясо. — Вот с фотографии смотрит на тебя человек, фотография выполнена прекрасно, глаза в ужасе вылезли из орбит и он ими смотрит — в ужасе — на тебя: — глаза кажутся белыми с черной дырой зрачка, — так выподал белок из орбит. Вот — молодая женщина, у неё отрезана левая грудь, кусок груди — мяса — лежит рядом на цинке. Вот лежит юноша, и у юноши нет подбородка: там, где должен быть подбородок, — каша костей и мяса — и первого пушка усов и бороды. — Но фотографии воспроизводят не только морг, фотографии запечатлевают и место, и то, как и где нашли умерших. — Вот — в замочном, кирпичном и ра-

тушном городке — за стеной во рву лежит человек, головою в ров, ногами на шоссе; человек смотрит в небо и на нем изодранный — пиджачишко, человек — vogabon — бродяга. Почему у убиваемых всегда открыты глаза? — и не столкнешь уже взора мертвых с той точки, куда он устремлен. — Здесь социальные задворки государств, они пахнут тухлым мясом. — Ночь. Мороз. Нету метели. Пахнет запахом человеческого трупа, непереносимым человеком так же, как собаками — собачий трупный запах. Их много, этих голых мертвецов в Европе, их собирают, убирают, меняют ночами. Они тоже пляшут в этой своей череде уборок, про них никто не помнит, их никто не знает. — Ах, какое промозглое, продроглое одиночество — человечески-собачье одиночество — испытывать, когда женщина, девушка, самое святое, самое необыкновенное, что есть в мире, несет бесстыдно напоказ сукнам мужчин с жареным шашлыком сердец, — когда она, женщина, девушка, должна — должна была бы притти к одному, избранному, — не ночью, а днем в голубоватом свете весенних полдней, в лесу, около сосен на траве. — Помните —

— ... В черном зале польской миссии — бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. За окнами — газовый фонарь, и газовые рожки бросают отсветы на колонны и на лепной потолок. В колонном зале — ночное совещание — враги: мистер Смит, министр Сарва, посол российский Старк и — хозяин — польский консул Пиотровский. Враги. И разговор их вне политики, — выше, — над — Иль это только бред? — Колонный зал безлюден, — кресла спорят? — докладчик: Питирим Сорокин.

— Милостивые государи, — не забудьте, что в Европе восемь лет подряд была война. Шар земной велик: не сразу вспомнишь, где Сиам и Перу. В мире, кроме белой, есть желтая и черная человеческие расы. Последние две

тысячи лет мир на хребте несла Европа, человеческая белая раса, одноженная мужская культура. Людей белой расы не так уже много.—Милостивые государи! война унесла тридцать три миллиона людей белой расы,— желтая и черная расы почти невредимы. Тридцать три миллиона—это больше, чем половина Франции, это половина Германии, это Сербия, Румыния и Бельгия вместе. Но это не главное: не главное, что вся Европа в могилах, что нету семьи, где не было бы крэпа, не главное, что мир пожелел от войны, как европейцы пожелтели в преждевременной дряхлости, от страданий и недоедания.— Милостивые государи!—Равенство полов нарушилось, ибо война—мужской агрегат, и гибли мужчины, носители мужской европейской культуры—за счет одиночества, онанизма, проституции и иных половых извращений. Но война унесла в смерть самых здоровых, самых работных—и физически и духовно,—оставив жить человеческую слякоть, идиотов, преступников и шарлатанов, скрывавшихся от войны. Но война унесла, кроме самых лучших физически и духовно, и мозг народов;—это касается не только России—Россия—страна катастрофическая;—Англия—богатая страна,—на тысячу населения в Англии два университетских человека,—едва ли после войны осталось на тысячу полчеловека: студенты Кембриджа—все пошли на войну офицерами—и к маю 1915 года живыми из них осталось лишь 20%. Европа обескровлена. Мозг ее высущен. Остались жить и плодиться: больные и калеки, старики, преступники, шарлатаны, трусы безвольные. Но это не все. „По векселям войны платят после нее“,—это говорил Франклин, и он был прав. Есть в мире закон, который гласит: каковы семена, таковы и плоды, такова и жатва. Война уничтожает не только лучших, но и их потомство. Война унесла не только лучших, но вообще мужчин. Новые семена будут сеяться

в дни развала семьи, половых извращений. Те мужчины, что вернулись с фронтов, навсегда понесут в себе разложение смерти. Где-то Наполеон сказал об убитых в сражении: „Одна ночь Парижа возместит все это“.—Нет, Sir был не прав: тысяча ночей Парижа и Лондона, и Рима не возместят эту гибель лучших производителей,—количественное возмещение—это не значит еще качественное, а новый посев будет посевом „слякоти“.—Милостивые государи! Вы все знаете старую истину,—что совершенство государственной организации, исторические ее судьбы,— находятся в исключительной, в единственной зависимости от культуры, быта и особенностей народности этого государства: каков поп, таков и приход,—русский император Николай II в Англии должен был бы быть парламентским королем, а английский Георг VII стал бы в России деспотическим императором,—восстановятся разрушенные фабрики, заводы, села и города, задымят трубы,—но человеческий состав будет окрашен человеческой слякотностью.— Милостивые государи! Мало нового под луной. В Европе много магии, если помнить историю Европы,—под Лондоном, Римом, Парижем гораздо больше человеческих костей, чем живых людей,—но за две тысячи лет гегемонии Европы над миром,—впервые теперь центр мировой культуры ушел из Европы—в Америку и к желтым японцам. В Европе много кладбищ. В Европе не хватает моргов. Вы знаете об этом жутком помешательстве Европы на танцах дикарей. И еще надо сказать о России. Эстия, Латвия, Литва—отпали от России. Вместе с Россией они несли все тяготы, но у них нет советов, разрухи и голода, как в России, потому что у них нет русской национальной души, русско-сектантского гипноза. Я констатирую факт.—

В черном зале польской миссии бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели.—И вот идет рассвет. Вот по

лестнице снизу идет истопник, несет дрова. В белом зале — серые тени, в белом зале пусто. За истопником идет уборщик. В печи горит огонь. Уборщик курит трубку, закуривая угольком, — и истопник закуривает сигаретку. Курят. Тихо говорят. — За окнами, под крепостной стеной внизу — ганзейский древний город, серый день, синий свет, — где-то там вдали, с востока, из России мутное восстает, невеселое солнце.

— И в этот час, в рассвете, под Домбергом идут (— в те годы было много изгоев, и — просто, русский наш, сероватый суглинок) офицеры русской армии из бараков, те, что не потеряли чести, — за город, к взморью, в лес — пилить дрова, лес валить, чтобы есть впроголодь. Впереди их идет с пилой Лоллий Кронидов, среди них много Серафимов Саровских и протопопов Аввакумов, тех, что не приняли русской муты и смуты. Они не знают, что они лягут костьюми, бутом в той бути, которой бутится Россия, — они живут законом центростремительной силы. Благословенна скорбь!

— Но в этот миг в Париже — еще полтора часа до рассвета, ибо земной шар — как шар, не всюду сразу освещен, — под Парижем, в Версали, шла страшная ночь. Нация французов, после наполеоновских войн понизилась в росте на несколько сантиметров, ибо Наполеон был неправ, говоря об „одной ночи Парижа“ и — ибо после Наполеона осталась слякоть человеческая. — В эту ночь еще с вечера потянулись толпы людей на метрополитенах, на автобусах, на таксомоторах, на трамваях и пешком: на такую-то площадь, у такой-то тюрьмы, у такого-то бульвара. Все кафэ были переполнены и не закрывались всю ночь. В три часа ночи толпа

прогудела о том, что приехала гильотина. Гильотину стали безмолвно собирать у ворот тюрьмы, в пятнадцати шагах от ворот, против ворот, на площади, чтобы толпа могла видеть, как будут резать голову. Полиция все время просила толпу быть бесшумной, ибо тот, которому через час отрежут голову, — спал и должен был ничего не знать о приготовлениях к отрубанию головы. Казнь, по закону, должна была быть до рассвета. В тюрьме — в такой-то тюрьме, у такого-то начальника тюрьмы — прокурор, защитник, священник и прочие начальники томились от неурочного бездействия и пили глинтвейн, на минуту заходил палач, в черном сюртуке, в белых перчатках и белом галстуке. Имя палачу — такое-то. Имя палача — такое-то — было во всех газетах, вместе с его портретом. — А когда пришли к тому, которому должны были отрубать голову, он на самом деле спал. Прокурор разбудил его, коснувшись плеча.

— Проснитесь, Ландрю, — сказал прокурор и заговорил о законах Французской Республики.

Ландрю попросил уйти всех, пока он вымоется и переоденется. — Священнику он сказал, когда тот хотел его исповедывать, — что ему не надо посредников, тем паче, что он очень скоро будет у Бога. Ландрю тщательно оделся, надел высокий крахмальный воротничок, выпил стакан кофе. Прокурор спросил, и Ландрю ответил, что он не считает себя виновным. Внизу в парикмахерской палач остриг Ландрю и тщательно обрезал ворот рубашки вместе с крахмальным воротником, обнажив шею: — концы галстуха упали за жилет. Батюшка вторично приступил к молитвам. Из парикмахерской было слышно, как морским прибоем гудит на площади толпа: в гул человеческих вскриков и слов врезывались бестолково гудки автомобилей. Но когда ворота открылись и вместе с прокурором, защитником, батюшкой и прочими палачами

и сволочью Ландрю вышел к гильотине, к палачу, в белом галстуке,—толпа смолкла.—

Мерзко, знаете ли, братцы!—

Фита.

Но эта фита не из русской абевеги.

В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих портах портились в тот год корабли за бездействием и бесповарьем. В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих городах, на складах, в холодильниках, в элеваторах, подвалах— хранились, лежали, торчали, сырели, сохли— ящики, бочки, рогожи, брезенты, хлопок, масло, мясо, чугун, сталь, каменный уголь. Сколько квадрильонов штук крыс в Европе?! —

Обстоятельство первое.

„Гринок“, судно Эдгара Смита, идет на пол-румба к северу. Судно находится $70^{\circ}45'$ северной широты. Льды, которые обязательно должны были бы быть здесь, не видны. Над волнующеюся свинцово-серую поверхностью нет уже никаких живых существ кроме обыкновенных чаек, буревестников да изредка темных чаек—разбойников, которые бросаются на простых чаек, только что поймавших в воде рыбу. Морская тишина оглашается тогда жалобным криком обижаемой птицы. Вероятно, что, когда судно войдет во льды, лодману посчастливится высмотреть из обсервационной бочки белого медведя. К одиннадцати часам вечера светило как днем. Телеграфист шлет радио. Динамо гудит все сильнее и сильнее, жалобные призывы уносятся с антенны в небесный простор, упорно повторяясь через ровные промежутки. Динамо

останавливается, и телеграфист прислушивается к ответу Югорский шар ответил, передали письма.

К часу пополуночи—синее небо, открытое море и полный штиль. Солнце начинает золотить небо и скоро появится над горизонтом. Море совсем покойно и кажется таким безбрежным, что в три часа „Гринок“ меняет курс, повернув почти на северо-северо-восток, чтобы пройти Белый Остров. Твердо уверенный, что это удастся, капитан мистер Эдгар Смит, начальник экспедиции, пошел спать.

Но в шесть часов капитан Смит проснулся от толчка. Стало быть, опять лед. Оказывается, лед уже давно виднелся с севера, но теперь появился и впереди. Судно наткнулось на небольшую льдину, не повредив даже обшивки. Кругом полосами полз синий, как датский фарфор, туман, его уносил утренний восточный ветер. Все оказалось пустяками, и мистер Смит собирался уже вернуться в рубку. Но тогда прибежал полуодетый телеграфист с лицом, покрасневшим и побледневшим пятнами и с разбитой прической: от толчка провод сильного тока упал на изоляционные катушки, пробил изоляционные обмотки, и радио-аппарат был испорчен непоправимо. „Гринок“ оказался отрезанным от мира. Небо на севере сильно бледнело, стало быть, там был сплошной лед. Солнце блестало так, что надо было одеть предохранительные очки.

Телеграфист озабоченно рассматривал погибшие катушки, поправить погибшее возможности не было. Динамо гудит все сильнее и сильнее, антенны выкидывают в небесный простор призывы—и безмолвно: судно и люди на нем отрезаны от мира. Последнее радио было от матери мистера Смита,—мать, по обыкновению, благословляла сына и писала о том, что даже в кононной Шотландии разрушалась семья и земное счастье. Неконченным, недопринятым было письмо брата, из Москвы.

— Москва—это азиатский город, и только. Ощущения, которые вызывает она, аналогичны тем, которые остались у меня в памяти от Петкина. Но кроме этого здесь чрезвычайно тщательно сектантское — — “ — и на этом обрвалось радио.

Капитан Смит, начальник экспедиции, спустился в салон. Стюарт готовил кофе. Пришли врач и лоцман. Телеграфист не явился. Лоцман сумрачно сообщил, что ему совершенно не нравится быть отрезанным от вселенной. Туман окончательно рассеялся. Кругом были ледяные поля. Весь день дул слабый бриз, сначала с северо-запада, потом с запада, затем снова с северо-запада. К вечеру ветер посвежел и небо покрылось тучами. Течение по-прежнему шло заметно к югу, но было слабо. Смит и врач играли в шахматы. Судно стояло. Лоцман занимался фотографией. Вечером стюарт особенно заботливо накрыл стол, раскупорил несколько бутылок рому.—К рассвету льды рассеялись. Капитан спал в своей каюте, его разбудили, и судно двинулось. Телеграфисту было поручено вести дневник.

Обстоятельство второе.

Мистер Роберт Смит—в России, в Москве, ночью. Мистер Смит с вечера перед сном сделал прогулку по городу, спустился по Тверской ко Кремлю, возвращался улицей Герцена и затем прошел бульварным кольцом. И ночью, должно быть, перед рассветом, в пустынной своей большой комнате—он проснулся в липкой испарине, в страхе, в нехорошем одиночестве, в нехорошой какой-то промозгости. Это повторялось и раньше, когда, в старости уже, сердечные перебои кидали кровь к вискам, а сердце, руки и ноги немели. Сейчас же, проснувшись

Роберт Смит первой мыслью, первым ощущением осознал совершенно ясно, промозгло-одиноко, что он—умрет. Все останется, все будет жить,—а его дела, его страдания, его тело—исчезнут, сгинут, растворятся в ничто. Это осознание смерти было физически-ощущим, и пот становился еще липче, ничего нельзя было сделать. Обезьянья вылезла другая мысль—та, что все же у него осталось еще пятнадцать, двадцать лет, и—вновь физическое ощущение—надо—надо сейчас же: делать, работать, не потерять ни минуты.

В окна сквозь гардины шел мутный свет. Роберт Смит вставил ноги вочные туфли, у ночных столика налил воды в стакан. Заснуть возможности уже не было. В доме было безмолвно. Дверь в кабинет, под портьерой, была полуоткрыта,—из кабинета шла дверь в зимний сад с пальмами и фонтаном. Костлявое тело в пижаме волочилось беспомощно. Мистер Смит сел в кресло у окна, отодвинул гардину. По улице шли нищие оборванцы, граждане Российской республики, женщины—одетые по-мужски, и мужчины в женском тряпье, прошли солдаты в островерхих шапках, как средневековые. Мистер Смит прошел в зимний сад, фонтан плескался тихо, пальмы в углах сливались с мраком.

„Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства, шотландец, Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только как умирали три тысячи лет назад и будут умирать еще через три тысячи, а вот так, как умирают сейчас, сию минуту—вот в этой страшной невероятной стране, где людоедство“. Учитель русского языка, господин Емельян Емельянович Разин, объяснил однажды,—что „с. с.“—два „с“ с точками после них обозначают русское ругательство—сукин сын, сын самки-собаки; мистер Смит тогда разложил в уме свою фамилию, С-мит,—но мит, по-немецки, тоже с,—и мистер Смит сказал сейчас вслух:

— Конечно, в смерти мы равны собакам.

В кабинете на столе лежал блокнот дневника,—простыни на кровати остывали. Мистер Смит был в Китае, в Индии, в Сиаме,—и еще в Англии, перед отъездом в Россию, он прочел Олеария. И когда он въехал в Россию, его поразило сходство—и с теми описаниями, что есть у Олеария, что сделаны триста лет назад,—и с Азией. На вокзале в Москве ему прочли объявление:— „Остерегайтесь воров“. Кругом гадела толпа ненормальных людей, никто не шел, но все бежали. У мистера Смита вырезали бумажник (через неделю вор почтительнейше прислал документы). Костюмы мужчин и женщин были почти неотличимы, особенно когда мужчины подпоясывали пальто веревками, а женщины были в картузах, кожаных куртках и сапогах и в мужских брезентовых пальто; несколько женщин, из внутренней охраны, были с винтовками и в солдатских штанах; все же мужчин в юбках не было. Сейчас же за вокзалом, где толпились и ругались друг с другом кули, извозчики и ломовики,—был поистине азиатский базар: на столиках, на повозках, в палатках торговали жареной колбасой из конского мяса, кипели самовары и кофейники, жарились блины; тут же продавалась и мука в мешках, и куски ситца, и мыло, и сломанный велосипед; мальчишки сновали с пачками папирос и спичек; за столиками в ряд стояли стулья, на стульях сидели мужчины и цирюльники брили им усы и бороды,—когда стулья пустели, цирюльники зазывали желающих бриться специальными окриками; и, как во всех азиатских городах,—стоило одному провопить громче, чем вопила вся толпа, или неподвижно уставиться взором в небо,—как около него возникала толпа сначала мальчишек, потом женщин и наконец мужчин: но тогда приходили мужчинообразные женщины или женонобразные мужчины и начинался митинг, где обсуждался

Карл Маркс.—Мистеру Смиту тогда на вокзале не сразу подали автомобиль,—мимо него на носилках пронесли несколько десятков мертвцов, умерших от голода, тифов и убитых, снятых с поездов, найденных на складах, в цехах, в бараках. Потом автомобиль повез мистера Смита по истинно-азиатским улицам Москвы с несуразными палатками на углах и с коврами плакатов на стенах, по кривым переулкам и тупикам, со сбитыми мостовыми и тротуарами, с кривыми подворотнями, с пустырями, заросшими деревьями; со дворов веяло запахом человеческого навоза. Затем—за пустынными площадями—стал Кремль, единственный в мире по красоте.—По площади у театров солдаты вели русских священников, платье русских священников в неприкосновенности сохранилось от древних веков, и цирюльники убирали шевелюры священников так, чтобы они походили на бога-отца, изображаемого на русских иконах, или на Иисуса Христа. У древнейшей русской святыни, у иконы Иверской божьей матери, несмотря на революцию, толпились оборванцы, а напротив, на стене красного здания было высечено:

„Религия—опиум для народа“.

Мистер Роберт Смит поселился в России, как англичане поселялись в Капштадте, Калькутте, Сирии, Дамаске. Россия для него была чужой страной, он был в ней, как в колонии. Мистер Смит поселился в особняке изгнанного из России фабриканта, он никогда раньше не жил так роскошно, как теперь. Это объяснялось двумя причинами,—во-первых, курсовой разницею валют, благодаря которой жизнь в России была дешевейшей в Европе, и во-вторых—исконнею особенностью России: Россия всегда была промышленно и политico-экономически дикой страной, неофициальной колонией сначала англо-саксов, затем гер-

манского капитала; предприниматели в России могли строить себе особняки, как нигде в Европе — — —

— Соплеменники Роберта Смита, жившие с ним вместе, сплошь мужчины, проводили время, как всегда англосаксы в колониях, — по строжайшему английскому регламенту плюс все те необыкновенности, что дает колония. Вечерами они были всегда вместе, напиваясь коньяком и ликерами, часто на автомобиле уезжали в злачные места и тогда пропадали целые ночи, — изредка устраивали у себя вечеринки, с отменными яствами, и на эти вечеринки приглашались только русские женщины, чтобы можно было вспомнить древнюю Элладу.

Потом Роберт Смит увидел Русский Кремль, русскую революцию. —

— Ложь? — Что, — ложь? — Во имя спасения? Нет. Во имя чего? — Во имя веры? — Да. Нет.

Где-то внизу, должно быть, на парадной лестнице, послышались шаги, — должно быть, лакея.

„Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства, шотландец, Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только, как умирали три тысячи лет назад и как будут умирать еще через три тысячи, — а вот так, как умирают сейчас в этой страшной, невероятной стране, где людоедство и где новая религия. Но ведь, если бы у Роберта Смита не было ушей, он не слышал бы ничего и был бы кем, если бы не было глаз — он ничего не видел бы, — если бы не было его — ничего бы не было — и ничего не будет тогда, когда не будет его. Цирюльники убирают шевелюры русских священников так, чтобы они походили на бога-отца, изображаемого на русских иконах, — но почему же на них похож и Карл Маркс, цитаты из которого на всех застежках в России?“

Лакей прошел в кабинет, бесшумно убирается.

— „История иногда меняет свою колесницу на иные повозки. Сейчас история впряженась в русскую телегу, древнейшую, как каменные бабы из русских — поокских раскопок. Две тысячи лет назад тринадцать чудаков, при чем один из них был сыном бога-отца, похожие на Карла Маркса, перекроили историю и человеческую культуру — не потому, конечно, что они несли новую правду, а потому, что их семена упали — на новую землю и: у них была воля творить, воля видеть — не видя. В Европе пели песнь о Роланде и песни nibelungов, по Европе ходили и крестоносцы, и гугеноты, и тaborиты, — и шел на костер Ян Гус, — а теперь кафэ и диле заменяют бани, в танцах дикарей, и ломятся киношки в сериях из жизни негров и американских индейцев, — не случайно существует Штейнер и лойольствует Шпенглер: телега, drogi истории поползли по корявым колеям и ухабам валютных и биржевых жульничеств, когда выгоднее было продавать и покупать вагоны теплых слов, чем создавать ценности, когда щетинились баррикады границ и виз, когда разваливались государства, религия, семья, труд, пол, — когда Европа походила на старую-старую суку английской породы, всю в лишаях. — Тогда не было уже в Европе Турции и единственная Азия оставалась — Россия. Пять с половиной веков назад, в Галиполи впервые появились турки, и ислам через Балканы и венгерские равнины дошел до стен Вены, где он был отбит соединенными силами погибшей тогда Габсбургской империи и вновь воскресшей Польши. Турции нет в Европе. Много государств и народов погибло и воскресло вновь за эти пять с половиной веков. В Анатолии, в Галиполи (где впервые появились турки) — умирали в тот год русские изгои. В тот год по Европе, как некогда в России, было много черт оседлости, — и русские изгои хорошо узнали, что значит быть евреем, а в Палестине вновь, после тысячелетий, возникло еврейское

государство. Глухо зачахли в те годы Армения, Сирия, Палестина, Аравия — к чему бы? —

— но это говорит не мистер Роберт Смит, это говорю я, Пильняк. Мистер Смит знал иное.

Англия!.. Последний раз он подъезжал к Лондону по Темзе — днем, в прилив. По Темзе они шли целый день, эти шестьдесят миль, и по обеим сторонам реки все эти шестьдесят миль был один сплошной завод, доки, корпуса, краны, трубы, корабли, катера, парусники, опять краны, доки, корпуса. Он знал, что половина заводов молчит, не дымит, рушится, что сотни тысяч рабочих не знали, куда деть свои руки. Он сошел с корабля где-то, где к самой воде подходили, пододвинулись огромные, глухие лабазы с железными воротами прямо в воду, — эти лабазы пропахли морем, солью, столетьями, копотью, каждый стоял, как крепость. Его повели лабиринтами и вывели в узенький закоулок, где не должно было быть солнца, а кольца, засовы, замки на безоконных домах говорили о пиратстве и средневековье, — но он знал, что десять веков английской национальной цивилизации свинуты в Англии в одну плоскость, и четырнадцатый век — вот сегодня так же здравствует, как и двадцатый. Автомобиль выкинул мистера Смита на Стрэнд, на улицу реклам, цилиндров, лайнсов и ресторанов. Над домами, на крышах, на стенах, на сэруках, — мчались, плясали, кружились огни всех цветов, всяческих скоростей: там извергался вулкан, очень угрожающе, потом он лопался и из него возникали женские панталоны, лучшие в мире, — там с крыши стекала кровь огня и из нее повисали соблазнительные слова „скотч-усики“, — там танцевал джентльмен из огня с огненной тростью. По улице катились сотни тэкси, бэссов, карров, на углах люди сваливались в лифты андер-граундов, бэссы походили на разряженных слонов,

тэкси — на цилиндр и на жучков-навозников. По тротуарам сплошной массой шла толпа цилиндров. На площади метались в воздухе живые акробаты, на углах у повозок с цветами играли музыканты, кто-то пел. На моменты захолаживала необыкновенная красота старины, двух соборов на Стрэнде, здания судебных установлений в начале Флит-стрит, серых, размытых дождями громад, сохранивших себя от средневековья — сохранивших средневековые теперешним днем... А потом автомобиль повернулся в переулочек, где все дома точь в точь, как один, серые, трехъярусные, в переулочке была тишина, точно он в глухой провинции и лег спать с семи часов, — и мистер Смит долго, неподвижно сидел в отельчике, в диккенсовской комнате, сохранивших свой быт не только от Диккенса, но и еще за двести лет до него, и за дверцей еще сохранился пурпурный, где раньше и теперь в торжественных случаях пудрили парики, чтоб не пылить всего жилья... Лакей-китаец принес уиски... Потом — под Темзой, под океанскими кораблями — в андер-граунде мистер Смит мчал на Кенуэн роад, в кварталы клерков... —

— Лондон!..

В Лондоне были улицы, которые нельзя перейти днем с одной стороны на другую, так они были запружены тэкси, бэссами и каррами, — и около Бэнка, у Тоттенгем-коорт-роада, на Пиккадилли-сэркус сделаны были проходы под землей, где пешеходы обходили улицу; у Чарингросса из под земли и под землею шли движущиеся панели. Город работал огромной турбиной капиталов, воль, труда, смертей, сметок. Город орал телефонами, радио-телефонами, радио-станциями, радио-телефоны рассказывали сказки, сообщали о модах в Париже, имя лошади, пришедшей первой к старту, давали концерты, сообщали политические и биржевые, биржевые новости... В Сити, в древнейшей части города, где когда-то была крепость и называнья хра-

нят ее память,—в Сити были закоулки, тупички, старина многовековая, камень и железо, церковки отодвинулись куда подальше,—по улицам, по тупичкам лавой шли черные пальто и цилинды,—краны передавали тяжелые грузы по крышам. Вон дом, где под ним в подвалах хранилось все английское золото,—вон дом, в нем еще сохранилась круглая комната масонских заседаний, в нем сидело пятнадцать джентльмэнов, все как один, за счетами и счетными книгами, все было чинно и чопорно, как в монастыре,—это была контора крупнейшего синдиката и какая-то четверть Австралии принадлежала ей,—вон еще меньше контора, там только пять человек,—но это их чайные грузы везли корабли по всему земному шару и где-то в Индии, в Китае, на Ново-Зеландских островах индузы, китайцы, малайцы—их рабы на чайных плантациях... Вон тот домик слал по всему свету библию и другие божественные книги... Сити—бывший хозяин капиталистического земного шара... Так вот, четверть шестого Сити—четверть шестого вечера—совершенно пуст, мертв, безмолвен, миллион людей бросался из него—тюбами, метрополитенами, бэссами, каррами. Через пол-часа половина этих людей, отпив файф-клок-ти, играла в тэнис, голф, крикет, футбол...

По костюму в Лондоне трудно отличить рабочего от клерка, клерка от капиталиста, все одеты одинаково, высокие, стройные, сухолицкие, ловкие, все как один, все как—как жилые в Лондоне кварталы,—там все дома, как один, трехъэтажные, с дверью наружу, и на двери от старины до сих пор обязательно висела колотушка,—и, если не знать номера дома, можно десятки раз быть в нем и не найти его. И в каждом доме, безразлично, у капиталиста, у клерка, у рабочего, раньше был половина девятого утра брэк-фест, когда каждый англичанин ел порич, бекен и пил кофе с вареньем из апельсиновых корок,—

потом англичанин шел на свой бизнэс, но в час каждый англичанин сидел за ленчем; потом он опять работал до пяти, до файф-клок-ти; потом до половины седьмого он занимался спортом,—половина седьмого он переодевался в ивинг-дресс и приступал к торжественнейшему за день—к обеду, со всей семьей, нарядные, как в праздник, торжественные, как на рождество; после обеда были—или Гайд-Парк с сюит-хартом, или кинематограф, или кружка стаута в паблик-хаузе... Так вот жил многомиллионный город, хозяин полумира, сплошь из мыши, трижды в день евший полусыре мясо,—величайшая в мире провинция... А в четверть двенадцатого вечера—город пустел, совсем пустел, никого не было на улицах, все умирало на ночь, англичане ложились спать, и все должно было спать добродетельным сном,—ночной жизни в Лондоне, как вообще в Англии, не было.

Мистер Смит знал,—вся Англия, как Лондон, жила традициями, консерватизмом, обычаями. Четырнадцатый век выпирал не только из Вестминстера, но и из каждого англичанина, с каждой улицы,—пусть этот четырнадцатый век колом заехал в ребро теперешних дней, все равно англичане сохранят этот клин. И мистер Смит знал, как иногда вдруг начинало казаться, что все англичане, вся Англия замирает, осклероживается, известняковится известняками Вестминстера,—не даром в Англии все идет и приходит в Вестминстер,—не случайно парламент в Англии вот уже восемь веков заседает в монастыре, в аббатстве,—не случайно на колонне Нэльсона высечено: „Соотечественники, собирайте деньги на борьбу с королем“,—не случайно в Сити, рядом с конторой, правящей порядками в Индии, где англичане погоняли туземцев резиновыми жгутами, где офицеры туземных войск должны встать пред великобританским солдатом и не смели подать ему руки, а в Лондоне в университете, когда рус-

ская девушка-студентка стала работать по химии в паре с индусом, ее вызвал профессор и спросил, как она, белолицая, осмелилась работать с желтожелтым—так третировать свою кровь,—не случайно в Сити рядом с которой, правящей порядками в Индии, контора миссионеров, рассылающих по миру библию и прочие божественные книги...

Вестминстэр... Мистеру Смиту были очень памятны те дни, когда он бродил по его векам,—древнейшего, красивейшего, величественнейшего здания он не видел. Кружево каменных глыб, более легкое, чем кружево из полотна, шло из двенадцатого века к небу, ввысь: оно, серое, росло, старилось, строилось, высилось вместе с нацией англичан; оно серое,—казалось,—собор построен из костей, и, когда подойдешь близко, видно, как столетья изъели камень, как вода, ветры, холды источили известняки, как изъели какие-то черви, и тогда казалось, что эти камни сложены не человеком, не человечьими руками, или иначе—человек не может теперь создать такого памятника, потому что он не найдет у себя в помощниках—столетий. Внутри здания было полутемно, и свет падал сквозь цветные стекла вверху; там было пустынно и просторно; там мистер Смит стоял у могилы Ньютона: надгробная плита была вделана в пол, как все плиты пола—могилы, уже полуостертые ногами проходивших, и плита могилы Ньютона тоже была стерта,—страшно было ступить на нее, и все же мистер Смит ступил, и было понятно, что Ньютон в здании английской культуры—только звенышко, как вон неподалеку могила однофамильца Адама Смита—тоже только звенышко английской—и европейской—культуры... Мистер Смит знал, что старина, отошедшее, памятники говорят—о смерти. Мистеру Смиту казалось, что Вестминстэр—из костей, окостянул, обизвестняковился. И он знал, что огромная, почти-геологи-

ческая, нечеловечески-человеческая эпоха настилает, накрывает тех людей, которые живут—живут не около, а под ней,—а вот англичане жили—с ней, в ней, она—их, они—её. Но—если эти известняки английской цивилизации уподобить гигантскому какому-нибудь глетчеру—из под него должны потечь ручьи.—Какие?..

— „Религия, семья, труд, пол“.—Мистер Смит знал, как в тихой Шотландии—даже в тихой Шотландии в годы перепряжек истории, когда мужчины шли, шли, шли убивать друг друга, разваливалась семья. Мужчине, европейцу, англичанину—бог уделил господство над миром, искание и труд—и каждому мужчине бог уделил еще—интимное, уютное, властное безвластие у сердца страшного зверя—женщины.—Уже совсем рассвело: раньше в России Олеги пили брагу из вражьих человечьих черепов. В полуумраке, Роберт Смит взглянул в зеркало, волосы сбились на лоб, лицо показалось лошадиным. Во рту, от недоспенного сна, ощущался привкус свинцовой горечи.—Смерть. Смерть.—И все же мистер Смит не поспешая принимал ванну, натягивал на повлажневшие костлявые ноги шелковые туго кальсоны, тщательно заправлял рубашку с негнувшимся крахмаленой грудью, выбирал в гардеробе костюм, избрал черный и затягивал сзади у брюк хлястик, защелкивал пряжки у ботинок.—Лакей принес кофе, в необыденный ранний час.—Смерть. Смерть. —

Телеграммы:

— Миссис Смит, Эдинбург:—Мама, прошу Вас, встретьтесь с миссис Елисавет, она не вновна.

— Миссис Чудлей, Париж:—миссис Елисавет, встретьтесь с моей матерью.

— Мистеру Кингстон, Ливерпуль:—

— Индийский банк, Лондон:—

Обстоятельство третье.

Мистер Роберт Смит получил воспитание такое же, как все англичане. В детстве—мать, мисс и церковь. Затем колледж в своем приходе, в Эдинбурге, голф, тэннис, парусная лодка, кружевной воротничек и штаны до колен. Потом Оксфорд динэр-жакет, бокс, футбол, виски, француженка—впервые и единственный раз до женитьбы. Затем годы путешествий, в Камеруне, в Австралии, в Сибири,—банки, онкольные счета и фунты и—где-то—никогда не видимые, но прекрасно знаемые и изученные,—товары. Тогда—у себя в Эдинбурге, в коттедже у моря,—любовь. Она—Елизавет—хрупкая девушка в белом платье с волосами, как закат в тумане, и с глазами, как море в облачный день. В пять часов, когда он делал визиты, она разливала чай, они играли в тэннис. Он пригласил ее однажды поплыть с ним в море на боте, под парусом,—она отказалась испуганно, и он плавал в заливе один, всю ночь. Она стала его женой. Венчание было в двенадцать часов дня, в этот же день они уехали в замок, чтобы побывать несколько дней наедине перед поездкой в Италию, в Египет,—и в первую же ночь, в холодной огромной спальне,—она отдалась ему, скав губы от боли и наблюдая не за ним, а за собой. Так Роберт Смит прожил год.—И тогда пришла война. Женщины на улицах одаряли мужчин белыми лентами, значащими, что этот мужчина добровольцем идет на фронт. Футбольными командами мужчины уезжали обучаться военному ремеслу. Мистер Роберт Смит поехал во Францию, рядовым, в одном из первых полков.—

Женщины в Англии... если на суде в Англии выступают свидетелями — одна женщина и два мужчины, и мужчины показывают одно, а женщина другое, судья должен верить женщине; когда женщина входит в трамвай,

андер-граунд, в зал,—все мужчины поднимаются, чтобы дать ей место, и пока женщина не сидит, мужчины стоят, и женщина кланяется первой, не подавая руки... женщины идут и приходят к Вестминстэру и от него и словами:—“лэдис фирст”—можно остановить коляску короля. Мистер Смит знал обычай Англии,—он знал, что англичанин может жениться только тогда, когда у него есть все для семьи, все, начиная с квартиры, кончая установленной обычаем дюжиной салфеток и десертных вилок,—безразлично — кто этот англичанин, капиталист, рабочий, клэрк,—и они женились в тридцать, сорок, пятьдесят лет, когда собирали все до последней пижамы жене и до кочережки для камина у дедовского кресла,—и все должен был собрать мужчина,—женщина освобождалась от мирских забот... И этот обычай создал институт сюит-хардства: клэрк может сделать предложение девушке, она станет фактически его женой, и он уже не мог отказаться на ней жениться, за это его заклеймили бы и общество и суд; у них, у двух сюит-хартов, могли родиться дети, это не позорно, потом, когда будут собраны ложки, дети будут усыновлены... ино... но до тех пор, пока они не повенчались, он не может прийти к ней в дом и она не может прийти к нему, их сгонят с квартиры,—они вынуждены были встречаться вне дома, на улицах, в парках, в кинемо... Англия—консервативная, кононная страна, и мистер Смит знал, что в Англии нет проституции, не было,—и его не шокировали пары всюду, на траве, под зонтиком, обнявшиеся и нежно целующиеся, в кинематографах, в музык-холлах... Так изо дня в день, из года в год, пока не собирали всего, положенного обычаями, сюит-харты встречались, шли в парк, любили, жили, собирали все для венца. Мистер Смит понимал, что здесь четырнадцатый век въехал в двадцатый, он отвергал „лицемерность“ нации англичан и знал, что все пути

ведут и Вестминстэр,—в одиннадцать часов вся Англия, как Лондон, засыпала благодетельным и добрым сном...—

Уезжая на фронт, мистер Смит ездил в Оксфорд проститься с ним...

— В Окс-

форде — в древнейшем университетском городе, где сорок девять университетов, — Роберт Смит пережил тогда строгую минуту гордости за человечество, за то, что он — человек и участник того огромного, что создало человечество. Перед вечером, после того, как целый день он бродил по паркам колледжей, он поднялся на башню Кэмпры, оксфордской библиотеки и музея. Туда он лез по круглой лестнице так же, как лазили здесь пятьсот лет назад; время шло к сумеркам, наверху, над городом, на средневековой башне было очень тихо, шум города сюда не доносился, — и тогда во всех сорока девяти башнях колледжей зазвонили куранты, — это было без четверти четыре, и эти без четверти четыре — мистеру Смиту не забыть: — ему совершенно ясно показалось, что он не в этих теперешних днях, он в пятнадцатом веке, — над городом, где глаз видел только средневековые башни и стены, неслась музыка точно такая же — фактически, — какой она была в тысяча четыреста восемьдесят пятом году, ровно за четыреста лет до рождения мистера Смита. Мистер Смит понял тогда, что у Англии слишком много позади, чтоб бодро смотреть вперед, если четыреста лет назад была такая музыка... И вечером мистер Смит сидел в ресторане, который назывался „Комната старого дуба“, — там один он пил виски... —

— В Шампани, после недели пребывания в окопах, их роту отвели в тыл, на отдых. Их взвод расположился в сарае фермы. В те годы все европейцы — мужчины знали, что такое: окоп, с единственной, промозглой, затаеной мыслью-

ощущением: — „не меня, не меня, не я—“ . И все знали, что такое — отдых в тылу, когда весь мир — мой, и я — бесконечно. У германцев всех проституток мобилизовали на фронт, и солдаты на отдыхе получали от врачей ордера к проституткам. — Тогда был весенний вечер, весь в золотом закате солнца, взвод играл перед сараем в футбол, Роберт Смит писал письма, ему захотелось выпить вина, и он пошел на кухню, около фермерского домика. Ферма жила так, будто никакой войны не было. В кухне мыла посуду молодая девушка, работница, с тупым веснушчатым лицом. Она улыбнулась мужчине, не умеющему говорить на родном ее языке, и принесла бутылку красного вина. Роберт Смит, совсем юный в военной форме, жестом предложил ей выпить, — она заулыбалась и принесла еще стакан. Вечером, когда уже стемнело, она прошла около сарая в виноградник и сейчас же вернулась оттуда, поднималась луна. Роберт Смит знал, что девушка прикрыла ставни у кухни и одна ушла туда. Роберт Смит сделал большой круг по винограднику, уйдя из сарая в противоположную сторону от кухни, и он оказался у кухни. Он постучал. Девушка что-то спросила из-за двери. Он постучал еще раз, тогда она отперла; она стояла в ночной рубашке, из грубого полотна почему-то очень короткой, прикрыв грудь рукою. Он хотел только попросить вина, но на пороге вдруг блеснула под луной железка-скребка, — он сделал большой шаг и вошел в кухню. В кухне пахло свежим хлебом. Она, эта француженка-работница, оказалась девственницей, — когда Роберт Смит вновь отворил дверь, он заметил, что в тени у кухни жмется солдат-француз, француз сейчас же за Смитом юркнул в дверь бани. Утром девушку нашли в бане мертвой, ночью был дождь, и пол бани был затоптан грязными ногами, точно здесь прошел полк. —

— Роберт Смит,—знал ли тогда он, что в мире есть старенький—не моральный, а физический, почти механический—закон: „Мне отмщение, и Аз воздам“,—что человеческий мир складывается — из человеческих единиц, только,— что есть вина разных культур, что Европейской культуры, романо-германской, одноженной,— вино, и вино, и уксус,—однолюбность, а одна функция всегда — не может не влечь за собой другую? — Но однолюбность: есть всегда — созидание, порой горькое очень.— Мистер Роберт Смит много женщин познал, многих национальностей, и молодых, и старых, и целомудренных, и извращенных, пока не узнал старенькой этой истины,—той, что человек самое ценное—и любовь: единственное—в этом мире. Другого же мира человеку—нет.—

— В Эдинбурге уходили мужчины на фронт. Несколько раз над тихими улочками Эдинбурга, в ночи, во мраке, летали цеппелины, тогда люди прятались по домам, а в небе ножницы прожекторов кроили темноту, и всем было некорошо, одиноко и сиротливо. Потом открылись лазареты и появились искалеченные на фронтах люди, жаждущие жить, и они были с большими деньгами, которых не жалели. На тихих улочках, вне центра города, где дома все, как один, появились кафе и кабаре, и кинематографы стали ломиться от посетителей, театры опустели. Появились гигантские, несуразные, беспокоящие плакаты о войне.— Миссис Смит—старуха—знала, что церкви пустеют, и еще она знала—старухи в квартале шептались озабоченно и испуганно—молодые женщины стали сестрами милосердия—девушки очень охотно уплывали в море на ботах под парусом—вон в том доме, напротив, № 27, девушка ходила к акушерке на street в другом конце города,—а в этом доме видели, как на рассвете из окна выпрыгнул офицер, у офицера рука была в белой повязке,

кинематографы ломились от пар.— Миссис Смит — жена Роберта стала сестрой милосердия; старуха не знала, что раз, в ночное дежурство, после обхода израненных мужчин, у молодой закружилась, закружилась голова и в этот момент в комнату, в дежурку, где была она одна, вошел рыжий ирландец, замкнул дверь, как раз тот, которому она улыбнулась несколько раз вечером и которого она видела, однажды, во сне:—молодая тогда очнулась, разобралась в ощущениях только утром, она поразилась, как все это просто, и она другими, упрощенными, глазами увидела свет, мужчин, своих подруг, матерей. Над Эдинбургом летали—изредка—ночами немецкие цеппелины,— После года отсутствия, после контузии приехал муж, Роберт, — и в первую же ночь муж испугал жену, тогда еще наивную, тем, что он не мог уже удовлетвориться естественной страстью, и то, что он делал, показалось ей мерзостью; но когда муж уехал снова на фронт и у нее был любовник, на десятом свидании она захотела, чтоб любовник сделал с ней то же, что делал ее муж.—

— Потом было все, что нужно для того, чтоб они разошлись, чтоб жена миссис Смит вновь стала миссис Чудлей. Тогда уже взорвала Европу Россия русской революцией, и советская революция умирала в Венгрии. Германию карнали во имя революции и мозгового осуждения Версальского мира, мятежничала вновь и вновь Ирландия, вымирала Франция.— Мистер Смит понял тогда, что значит „Мне отмщение, и Аз воздам“,—но случилось так, как должно случиться: мир заслонил любовь, и — как часто случается: Роберт Смит не мог примириться с любовью к ушедшей жене. Она очень скоро применилась, она уехала в Париж.

Роберт Смит знал:

— В Великий пост в России—в сумерки, когда перезванивают великопостно коло-

кола и хрустнут ручьи под ногами,—как в марте днем в суходолах в разбухшем суглинке,—как в июне в росные рассветы в березовой горечи,—как в белые ночи,—сердце берет кто-то в руку, сжимает, зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки,—сердце наполнено, сердце трепещет,—и знаешь, что это есть мир, что сердце в руки взяла земля,—что ты связан с ее чистотой так же тесно, как сердце в руке,—что мир, земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как березовая горечь в июне)—одно: чистота, девушка, Лиза Калитина.—

Миссис Смит знала:

— Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком,—и, когда он идет по вожже к уездам рысака, не желающего стоять,—они стоят на снежной пустынной поляне,—неверными, холодными руками она наливает коньяк, холодный как лед, от которого ноют зубы, и жгучий, как коньяк,—а губы холодны, неверны, очерствели в жестокой тишине мороза, и губы горьки, как то яблоко с пятнышком. А дома домовый пес-старик уже раскинул простыни и подлил воды в умывальник.—

Роберт Смит никогда не познал, никогда:—как—

— Лиза

Калитина, одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море:—здесь под обрывом льды—там далеко свинец воды,—и там далеко над мутью в метели красный свет уходящей зари. Снежные

струи бегут кругом, кружатся, около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются.—„Это я, я, я“.—Снег не комкается в руках, его нельзя смять, он рассыпается серебряной синей пылью.—„Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю“.

Телеграф.

Телеграф—это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами, и в осени,—сиротливо, потому что—кто знает, что, о чем гудят они?—в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам:—

Телеграф выкинулся из России в Европу телеграммы—миссис Смит, миссис Чудлей, мистеру Кингстону.—

Россия—Европа: два мира?

В колонном зале польской миссии—на Домберге—парламент мнений. Древнюю Колывань осаждал когда-то Иван Грозный,—публичному дому тогда было уже полтораста лет. Здесь все, кто вне России, кто глядит в Россию. Свет черен—не понятно, ночь иль окна в черных шторах? Парламент мнений. Здесь все. Сорокин и Пильняк—не явились. У секретарского столика Емельян Разин и Лоллий Кронидов. Ротмистр Тензигольско-Саломатино-Расторов сел на окне, без шапки. Рядом стала серая старушка—мать—миссис Смит. Генерал Калитин не может объясниться по-английски с мистером Кингстоном из Ливерпуля. Министр Сарва, посланник Старк сторонится Ллойд-Джорджа. В зале нет миссис Чудлей.—Иль это только бред, иль это только муть, туман, наважденье?—в зале только истопник, и кресла, и тишина—над мертвым городом,—а где-то там, во мгле лежит—Россия,—где с полей,

суходолов, из лесов и болот — серое, страшное, непонятное, — что? — ...Докладчик, кто докладчик?

— В зале нет мис-

сис Чудлей —

— И Париж. Автобусы, такси, трамваи, мотоциклы, велосипедисты, цилиндры, котелки, женские шляпки. В Париже нет извозчиков. На углу, где скрещиваются две улицы, люди, как сор в воронку, проваливаются в колодца метрополитена. Гудит, блестит, — мчит город — в солнце, в лаке, в асфальте. Оказывается, женщин надо, как конфеты, из платья выворачивать. Дом там, против бульвара — весь в оборках жалюзи, — и миссис Чудлей, в прохладной тени, идет из одной комнаты в другую: — кружево, кружево, шелк, пеньюар — утро. В умывальнике, в ванной — горячая и холодная вода. Миссис Чудлей у зеркала — миссис Чудлей в зеркале, — и губы пунцовеют в кармине, бледнеют щеки и нос, а глаза как море в облачный день, и под глазами синяки, такие наивные, такие печальные. И плечи — чуть-чуть припудрены. Она знает, что женщину, как конфетку, надо из платья выворачивать. Она идет по комнате, ее мопс бежит за ней. Уже поздний час. Она знает: — как у нее, так у всех парижанок, у немок, у англичанок, — у всех или визитная карточка, или блокнот (в черепаховой оправе), — и так легко добиться этой карточки, чтоб там был указан час, и к этому часу, конечно, пусть это днем или ночью, в ванне — теплая вода, простыни и полотенца. В комнате за жалюзи — прохладно, и на улице — за жалюзи — котелки, цилиндры, лак ботинок. — Миссис Чудлей в белом

платье, в белом пальто, с сумкой в руках. Лифт мягок, лифт скользит вниз. На тротуарах, в жестяных пальмах — кафэ. За углом, в переулке, где тихо, — парикмахер. Миссис Чудлей идет делать прическу, маникюр и педикюр. — И вот —

— и вот, когда миссис Чудлей сидит в кресле, за стеной, где живет джентльмен-парикмахер, — плачет ребенок, мальчик девяти лет, мальчик плачет неистово. — В чем дело? — Мальчик потерял грифель от аспидной доски, и его завтра накажет розгами учитель в школе. — Потом, когда джентльмен-парикмахер склонялся у ног, мальчик неистово ворвался сюда и завертелся неистово, в счастии, — потому что он нашел грифель и его не будет бить педагог. Перед этим мальчик неистово плакал, его побили бы.

— Миссис Чудлей идет по бульвару, в кафэ, — ее джентльмен, с тростью в руках, уже был утром на бирже, он в курсе, как пляшут доллары, фунты и франки, он уже потрудился. Ах, должно быть, должно быть, она даст ему свою визитную карточку. — Он бодр, он весел, он шутит, — но он немного устал. Он говорит: — „Pardon, madame“, — и заходит в писсуар, от удовольствия он бьет тросточкой по стене. Она идет медленнее. В кафэ пустынно. День. — Ну да, в пять часов разбухнут кафэ от кавалеров и дам, и будут острить, что костюм дам стоит — из кавалера впереди и из ничего сзади: это совсем не потому, отчего в России и мужчины и женщины ходят кругом голые. И тогда из пригородов, из подворотен казарм, с фа-

брничных дворов—выйдут—пойдут—черные блузники—и где-то собираются еретики, фантасты и отступники—поэты и художники.—В этот день миссис Чудлей принесли телеграмму—

— Ну, вот

миссис Чудлей не было в колонном зале польской миссии,—но неистовый плач того мальчика, ребенка, которого будет дратъ педагог за утерянный грифель,—этот плач был в этом зале. Детский неистовый плач стал рядом с миссис Смит, около ротмистра-губернатора Тензигольского. Поэты, художники, еретики и блузники пришли потом.— В тот год—в те годы—не знали еще в Европе, что это пришло: кризис или крах — или нарождение нового?— В Ливерпуле в порту толпились корабли, титаники, дредноуты, над мутной водою, в нефти—в порту— с каменных глыб набережных свисали гигантские грузоподъемные краны, горами валялся уголь, лежали бочки, хлопок под брезентами, высился нефтяные баки, каре кварталов элеваторов, складов и холодильников замыкали порт кругом. Кругом все было в саже, в дыму, в каменноугольной пыли, звенели и дребезжали лебедки, вагонетки-вагончики, вагоны, гудели паровозы и катера, гонимые человеческой волей.— Там дальше был город контор, банков, фирм, магазинов. Здесь толпилась толпа—людей всех человеческих национальностей,—туда в город контор автомобили, трамваи и автобусы увозили только тех, кто был в цилиндрах, котелках и крахмалах.— В элеваторах, складах и холодильниках, должно быть, конечно, было много крыс.— И в конторе мистера Кингстона, как во многих конторах королевского банка, знали—вот—что, не о крысах:—

— В тот год—в те годы—никто не знал, что пришло в Европу:—гибель, смерть или рождение нового. Но мистер Кингстон, как многие, кто научился читать

цифры, знал— — Впервые за две тысячи лет гегемония над миром ушла из Европы. Уже прошли годы человеческих войн, но народы, как звери, зализывая болячки, жили военными поселениями, глухо готовясь к новым и новым войнам. Вся Европа, и победители, и побежденные, страны, которые грабят, и которых грабят,—вышли из войны—побежденными. Во всех странах, у всех народов пустели университеты, вымирала интеллигенция — мозг народов, пылились, разваливались, разветвлялись музеи, картины и книгохранилища, народами управляли солдат, мудрый, как казарменная вахта, и шибер, энергичный, как кинематограф, полагавший, что вся промышленность и экономическая жизнь народов—есть только: биржа и жульничество на высоких и низких валютах: не поэтому ли в Англии, Франции, Италии—не дымились домны, заводы и фабрики—и заливались водой каменноугольные, железорудные шахты, извечно черные и пыльные, и одни за другими, сотни, тысячи, лопались, банкротились—фирмы, торговые конторы, банки, предприятия,—а рабочие, десятки, сотни тысяч, миллионы,—безработные—люмпен-пролетариат—шли в больших городах от одной профессиональной конторы к другой фабричной конторе, в штрайкбрейхерстве,—ночью неизвестно где, потому что вот уже много лет ничего не строилось в Европе, и в одной Англии необходима была постройка миллиона домов,—не потому ли тогда ощетинились нации баррикадами виз и таможен, и даже Англия, великий торговец, изменив столетию своего фритредерства, построила заборы таможен — для победенного врага, Германии, которая non sensom затуманила смысл побед и Версалей и за Версалем оставила одно лишь—разбойничество—? Тогда говорили в Европе, что это промышленный экономический кризис.—И, хотя государства грозились заборами таможен, как баррикадами, все же были люди, которые видели гибель Европы

в уничтожении международного братства, и тогда учинялись Канны, Генуя,—и там фельдфебеля хотели учинить новый Версаль,—и эти глядели на Россию—в Россию, чтобы утвердить равновесие мира—новой колонией. Но государства еще жили и властвовали, как на войне, разъединяя, кормя и—властвуя: тогда многие в Европе научились знать, как достается хлеб,—но многие и многие поля в те годы были засеяны—не пшеницей, а карточью,—об этом хорошо знал европейский крестьянин, мужик,—и многие и многие те, для которых не хватало моргов, разучились есть хлеб: ведь едали же в Лондоне и Берлине дохлых лошадей и собачину. И хозяйственный кризис все рос и рос, все новые останавливались заводы, все новые рушились фирмы, все новые товары оказывались ненужными миру—медь, олово, хлопок, резина,—и новые миллионы людей шли—в морги. Но киношки, но кафэ, диле и нахт-локалы были полны, женщины всегда имели визитные карточки.—И эти глядели на Россию—в Россию, чтобы утвердить равновесие мира: колониальной политикой.—

— Но в Европе были и еретики, и безумцы, и поэты, и художники, которые — — —

— Но Европа мала; — Европа, кошкой изогнувшаяся на земном шаре, где старая кошка нюхает молоко Гибралтара, где Пиренейский полуостров—голова, а нога—Апеннинский полуостров—

— и гегемония над миром ушла из Европы, с Атлантики—к Тихому Океану:—

— В Америке сытно, обутно и одетно, в Соединенных Штатах на каждого десять человек—автомобиль и полу-

вина мирового золота там, и доллар чуть ли не выше своего паритета, и тоннаж,—в четверть мирового тоннажа, догоняет Англию. В Японии дымят заводы, снуют основы и членки, и японскому флоту—ближе до Австралии, чем английскому. В Китае, который спал шесть тысяч лет,—полезли китайцы под землю за каменным углем, за залежами железных, оловянных, медных руд,—в Китае загорелись домны.—В Австралии теперь—свои заводы.—Тихий Океан—он же Великий—Аргентина, Боливия, Перу—краснокожие, желтолицые, негры—но Европа—Европа—

— Докладчик мистер

Кингстон сходит с кафедры. В черном зале польской миссии темно. Иль это бред и подлинен один лишь детский—горький плач?—Мистера Кингстона сменяет другой докладчик, Иван Бунин,—иль это только бред, поэма, метель над Домбергом—? — Корабль мирно идет из Америки в Европу. „Горе тебе, Вавилон, город крепкий“, Апокалипсис.—Это эпиграф.—

— „...почти до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно и даже без качки, пассажиров на пароходе оказалось много. И все люди крупные, пароход—знаменитая „Атлантида“—был похож на самый дорогой европейский отель со всеми удобствами,—с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой,—и жизнь на нем протекала по самому высшему регламенту: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало

над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершили дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодною свежестью океана, или играть в шеффль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать подкрепляться буттербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газеты и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху: все палубы заставлены были тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким, душистым чаем с печеньями; в семь оповещали трубным сигналом об обеде из девяти блюд... По вечерам этажи „Атлантиды“ зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных складах с особенной лихорадочностью. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека, чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появляющегося на людях из своих таинственных

покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвигивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену—ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в огромной двухсветной зале, отделанной мрамором и устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями хрустальных люстр и золоченых жиронделей, переполненной декольтированными дамами в бриллиантах и мужчинами в смокингах, стройными лакеями и почтительными метр-д'отелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр... Обед длился целых два часа; а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, задрав ноги, решали на основании последних политических и биржевых новостей судьбы народов и до малиновой красноты лица накуривались гаванскими сигарами...—Океан с гулом ходил за стеной черными горами, выюга крепко свистала в отяженевших снастях...—в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзла от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке———“.

...Мистер Смит знал Англию, страну конопьев, где все пути ведут в Вестминстэр и где в Лондоне ложились спать, оставляя бодрствовать с фонариками полисмэнов, в одиннадцать часов вечера. Если английская цивилизация—как глетчер, что должно потечь из-под него.—И мистер Смит знал многие ручьи, те, что размывают известняки Англии...—Он знал о страшном одном проценте: — в Англии, на острове Великая Британия, жило тридцать

миллионов человечьих душ, работников, старииков, женщин и детей,—и два миллиона человечьих душ, четыре миллиона здоровых человечьих рук—не знали, куда себя деть,—два миллиона на тридцать—один человéк на четырнадцать,—один здоровый—на четырнадцать женщин, старииков, детей, калек,—один здоровый—на пять других здоровых,—один безработный—на пять работающих. Англия—кононная страна, она ложилась спать в одиннадцать часов, там не было нищих,—и эти безработные в кононном Лондоне, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, рисовали на асфальте картинки, плясали на углах, пели песни, торговали спичками, подсаживали в бэссы,—потому что—„нужда плашет, нужда скачет, нужда песенки поет“, поистине; им нечего было есть, и много кошек, собак и лошадей—съели—они; им негде было спать, и многие гранитные плиты под Вестминстэром, в Имбенкменде, в Уайт-Чапле, в Вест-Инде помнили ночлежников, тех, что покрывались своими пиджаками и спали в воротничках (ведь там никто не ходил без воротничков), под худой английской крышей неба,—их.——Это они продавали цветочки на углах, гвоздики, розы, хризантемы... это они акробатничали на площадях, это они играли на шарманках: около Вестминстера...——Это—один ручей из-под глетчера английской цивилизации. И—другой,—не надо было далеко итти от Вестминстера,—надо было от него и от Темзы по улице министерств подняться до Трафальгер-сквера (где на колонне Нельсону высечено: „Соотечественники, собирайте деньги на борьбу с королем“), свернуть на Стрэнд, там зайти в кормер-хауз,—и это здесь; это называется „пошлисть“,—здесь сидит шибер, нуво-риш, он может все, он очень подвижен, у него десяток говорящих телефонов, у него друзья на всех биржах, он сидит за столиком, и от избытка энергии ковыряет в зубу и подрыгивает—совсем не по-английски—тугой ляжкой, его нацио-

нальность стерта, он немного боится полиции и у него есть свой „свет“,—поэтому он почти незаметно переписывается с барышней, подающей кофе, он убеждает ее быть его сюит-хартом и поехать с ним куда-нибудь подальше на вик-энд, и она—убеждена; он недоволен, что газеты начинаются с передовой, а не с биржи, точно биржа не решаящая все передовая; это уму по его вкусу играл оркестр облетевшего всю Европу одесско-константинопольского „Алешу-ша“ из Одессы-мамы; он вечером пойдет в музик-холл, он завтра полетит „на пару часов“ в Париж... Он не был в Вестминстэрэ и не знает, что в нем заседает парламент, он читает „Тарзана“ и ждет одиннадцати часов, когда закроется кормер-хауз и он поведет—самая веселая часть суток—продавщицу к себе во флат...——Над Лондоном, над Англией—части туманы. Что видно в туманах?—вернется ли к Вестминстэрэ Англия?—

Телеграф.

Телеграф: это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и осенями,—сиротливо, потому что—кто знает, что, о чем гудят они?—в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам.——В Эдинбурге у матери Смит в пять часов был подан чай, блестел сервис, скатерть, полы, филодендроны,—в Париже у миссис Чудлей разогревалась ванна, чтобы женщину, как конфекту, из платья выворачивать,—и тогда велосипедисты привезли телеграммы.

— „Мистер Роберт Смит убит
в Москве“—

Фита.

Но в Европе ведь были—еретики, безумцы, поэты и художники, которые——В Европе гуситствовал Штейнер и лойольствовал Шпенглер——В Ливерпуле, Ман-

честере, Лондоне, Гавре, Париже, Брюсселе, Берлине, Вене, Риме,—в пригородах, на фабричных дворах, из подворотен, в дыму, копоти и грязи, на рудниках, шахтах и заводах, в портах,—в элеваторах,—поди много крыс!— рабочие, безработные, их матери, жены и дети—правой рукой—сплошной мозолью, выкинутой к небу, и обожженными глотками—

— и с ними еретики, безумцы, поэты и художники—

— вчера, третьего дня, завтра—ночами, восходами, веснами, зимами, осенями—в туманы, в непогодь и благословенными днями—одиночками, толпами, тысячами,— обожженными глотками, винтовками, пистолетами, пушками—

— кричали:

— Третий

Интернационал!

В черной зале польской миссии—бред. Маленький мальчик горько плачет в польской миссии, потому что он потерял грифель, и педагог будет его бить. Лиза Калитина—в польской миссии. Метель в польской миссии. Но вот идут еретики, поэты, художники, безумцы, рабочие, все, для кого морги. Ротмистр Тензигольский—обветрен многими ветрами—Ллойд-Джордж—вместе с Тензигольским—расстрелян. Бред—ерунда—глупость—вымысел. В черном зале польской миссии бродят тени, мрак, ночь. Мороз. Нету метели.—И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова.—

В Москве, с Николаевского вокзала—из колонии, имя которой Россия,—ушел вагон за границу, в метрополию, он должен был дойти до порта Таллина. Он должен был уйти в 5,10, но ушел в 1,50,—это по-российски. На вок-

зале, ибо в эти часы не было поездов, было пустынно. В вагоне ехали эсты. Русские понимали по-эстонски только два слова: куррат:—чорт, и якуллен:—слушаю; слушали друг друга—и русские носильщики с усмешкой, и эстонские курьеры дипломатически вежливо—„якуллен“,—но не понимали. Уборная в вагоне обозначалась по-эстонски, что не изменяло, конечно, ее назначения, как это бывало в России. Вагон грузили ящиками в пломбах, похожими на гроба, которые именовались дипломатическими пакетами. Потом, вместе с людьми, запломбировали вагон. Ночью вагон ушел. Ночью было холодно в вагоне.—Во всем вагоне оказалось пять человек, при чем двое из них—русские,—впрочем, был еще шестой: в одном из дипломатических пакетов находился труп Роберта Смита. Ночью в вагоне на дипломатических гробах горели свечи. Стены вагона, деревянные, были крашены серым, вагон был невелик, окна были замазаны известью, при остановках и толчках в дипломатических пакетах перекатывались бутылки, все пятеро были в енотовых шубах, пахло нафтalinом и сардинками,—и вагон походил на общую каюту третьего класса внизу, в трюме, плохенького морского пароходика: бутылки из-под шампанского, которые перекатывались в дипломатических гробах, напоминали звон рулевых цепей, и как в трюмах—в окнах ничего не было видно. Так заграница подперла к самой Москве, так уходил вагон из колонии, утром и весь день ничего из вагона не было видно: окна были хорошо закрашены. Двое русских все же успели за ночь обжить свое купе и свои гроба—окурками, бумажками и разговорами по душам. Вечером в вагоне запахло трупным удущьем—от трупа Роберта Смита.

Если ехать первый раз в жизни,—в годы Великой Мировой разрухи—переехать русскую границу, где ломаются два мира,—не просто. И вагон переезжал границу

ночью. В Ямбурге, на русской границе, все пошли с чехоманчиками в таможенную будку,—и ночь была такая, как и должно ей быть на границе, где контрабанда и иные темные дела: на шпалах, на рельсах, на деревьях мылилась луна, и казалось, что луна—едва слышно—звенит в одиночестве,—и у таможенной избы, сбитой из фанеры, окна были замазаны известью, смотрела—мазала известью на стеклах—луна. Было четыре часа ночи.—Потом опять вернулись в вагоны, поезд тронулся и через пол-часа пришли уже другие пограничники, в нерусской форме,—они поздравляли с приездом в Европу. В сущности, это было очень нищее. Так пришел вагон из колонии в Европу,—еноты не прятались:—кто знает, сколько было вывезено из колонии платины, камней, картин, икон?—вместе с дипломатической почтой?

Так выбыл из России—запечатанный в дипломатическом пакете—мистер Роберт Смит.

И другой поезд вполз в Россию, чтобы сщемить сердце каждого русского,—

— чтобы услышать дубасы в вагоны, шум, гам и вой, крики и вопли мешечников и мешков в матершине, чтобы хлестнуть по носам всероссийским запахом тримитиламина, аммиака и пота,—чтобы никак не объяснить американцу про недезинфицированный башмак и никак не понять, когда день, когда ночь, когда что:—

— Но над Россией—весна, Великий пост,—когда ветрено, ручейно, солнечно, облачно и когда бухнет пол днями сердце, как суглинок,—когда хрустнет хрусталь печали, как льдинка под ногой,—и поют—когда мужики русские песни, тосклиевые, как русские века: ветер потрошит души русских, как бабы потрошат кур,—и все же ветрено, ручейно, облачно и солнечно по весне в России.

1) В поезде был вагон детских сосков, закупленных за границей российским внешторгом: впоследствии выяснилось, что вместо сосков оказалась в вагоне: другая резина.

2) В Себеже, что ли, в Великих Луках, или где-то еще:—баба кричала истощно: „Дунька, Дунька-а,—гуртуйси здеся!“—И с воем мчались по базару мешечники. В Себеже, что ли, или в Великих Луках, по шпалам ходил стрелочник, переводил стрелки рельс; на голове у него была шляпа, за поясом две палочки красного и зеленого флагов, а у пояса в котомке—две книги,—Евангелие и Азбука Коммунизма,—на ногах у него, по весеннему, ничего не было; звали стрелочника Семенов. Семенов ходил по шпалам,—мешечники уже умчались, ибо поезд ушел. Семенов вынул тогда из котомки Азбуку Коммунизма и стал зубрить, как вызубрил некогда Евангелие,—Азбуку же Коммунизма зубрил к тому, чтобы примирить Азбуку с Евангелием, ибо находил в этом великую необходимость для души.

3) В Себеже, что ли, или в Великих Луках,—на базаре за станцией, в базарный день, стоял с возом степенный русский мужик, продавал восемь пудов ржи. Мимо шли рыбцой покупатели и продавцы. Как соловьи в майскую ночь, оглашали базар удивлением миру—громчайшим визгом—поросыта,—и вопил базар очень громко—в синее небо, соборной толпою. К мужику подошел человек.

— Что продаешь?

— Рожь продаем мы, обмениваем значит. Деньги нам, значит, не надо—обклеивать избу.

— Так. А по чем?

— Мы не на деньги—обклеивать избу. Керасинчику нам бы...

— А на что тебе керосин? Для свету?

— Керасин нам для свету,—чтобы морду не расшибить, значит, в потемках, либо к скотине выйтить, а то—бойся.

Обыватель сказал мужику:

— У нас теперь электризация произошла.—Горит сколько тебе хошь—без керосину,—и опять пожару не может быть—не жгет. Лампа такая стеклянная, вроде груши, и проволока в ей, а от ей идет другая проволока в загогулину на стене. Хошь, продам?

— А не вре?

Мужик поехал к человеку, посмотреть электричество. Воз на дворе оставил, вошли в дом. Человек объяснял:

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот шнурок. Видишь: я конец шнурка, штепсель, втыкаю в стену, в эту вот загогулину. Видишь: теперь я на подставке поворачиваю крантик и—горит.

Действительно, засветило. Мужик охнул, посмотрел, потрогал, понюхал.

— И без керасину, значит? А какая же в ем сила?

— Сила в ем от земли.

— О!

— Теперь. Видишь: крантик этот я заворачиваю,—не горит. Вынимаю штепсель из загогулины, иду в кухню, там втыкаю в загогулину, поворачиваю и—горит, как твоих двадцать лампов.—И желаю я за все, за лампу, за подставку и за загогулину—восемь пудов ржи. Дешевле никак нельзя.

Мужик заторговался,—поставили самовар,—столковались на семи, свешали, поменялись из полы в полу. Честь честью.—„А загогулину тогда к стенке гвоздиком приколотишь, что ли“.

Мужик приехал домой к вечеру, в избу вошел гоголем. Сказал бабам:

— Грунька, сбегай к Авдотье, а ты, Марья, к Андрею,—чтобы пришли скореича, значит. Еще кого позвовите.

Народ пришел. Мужик, молча, осмотрел всех,—отодвинул локтем сынишку от стола. Топором, двумя гвоздиками—приколотил к стене загогулину. Сказал:

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот—снурок. Видишь: я конец снурка, стесель, втыкаю в стену, в эту вот загогулину. Видишь: теперь я на подставке поворачиваю крантик и —

Ничего не загорелось.—

—?—Постой. Погоди.—?—Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот—снурок.—Видишь: я конец снурка, стесель —

Ничего не загорелось.—

4) Человек же в городе шесть пудов ржи спрятал под кровать, а седьмой пуд сменял на самогон—у самогонщика-трезвенника стрелочника Семенова. К вечеру он лежал за базаром, за железнодорожной линией в канаве,—пуговица у его штанов лопнула, он дрыгал ногами и говорил:

— Пусти, ос-ставь... Не трожь, т-това-рищ. Не замай.— Он немного молчал, потом начинал вновь:— отвяжись, ч-чорт, п-пусти ноги... ос-ставь, ты—нне—гарни-турься —

Наконец одна штанина свалилась с ноги. Он почувствовал облегчение:—„Аа, пустил, дьяволюга!“—перевалился со спины на живот, пополз на четвереньках, затем встал на ноги, упал. Шагов через пятнадцать свалилась и вторая штанина. Тогда пошел тверже.—

5) И еще где-то в другом конце России, и тремя месяцами раньше:—в том помещичьем доме, где когда-топравляли помещичьи, декабрьские ночи—

— Знаемо было, что кругом ходят волки, и луна поднималась к полночи, и там на морозе безмолвствовала пустынная, суходольная, — непомещичья — советская ночь —

— В доме многое было, и коммуна, и трудармейские части, и комсомол, и совхоз, и детская колония, дом как следует покряхтел.

— В том помещичьем доме организован был здравотделом дом отдыха. В честь открытия дома устроен был бал и ужин. Все было отлично сервировано. И вот на балу, за ужином — украдены были со стола тарелки, ложки и вилки, а из танцевального зала украли даже несколько стульев, — хоть и присутствовал всем синклитом на балу исполком. —

6) И последнее, о людоедстве в России. Это рассказал Всеволод Иванов — „Полой (почему — не белой?) Арапией“. Еще три месяца скинуты со счетов, — в третьем углу России. —

— Всеволод Иванов рассказал, как сначала побежали крысы, миллионы крыс: „деревья росли из крыс, из крыс начиналось солнце“. Крысы шли через поля, деревни, села. „Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце. Тучными животами выпячивались тучи. Оглоданные земли. От неба до земли худоребый ветер. От неба до земли жидкая голодная пыль“... „Крысы все бежали и бежали на юг“. Тогда крыс начали бить, чтобы есть. Их били камнями, палками, давили колесами телег. „К вечеру нагребли пол-телеги“. Заночевали в поле. „Наевшись, Надька сварила еще котелок и отправила с ним Сеньку к ма-

тери, в деревню. Вернулся он утром, — подавая котелок, сказал:

— „Мамка ешшо просила“ —

Крысы шли через поля, деревни, села. На деревне, в избе крысы отъели у ребенка нос и руку. „За писком бежавших крыс не было слышно плача матери“. Потом пришел сельский председатель: „пощупал отгрызенную у ребенка руку, закрыл ребенка тряпцей и, присаживаясь на лавку, сказал:

— „Надо протокол. Может вы сами съели. Сполкуму сказано — обо всех таких случаях доносить в принадлежность.“

„Оглядел высокого, едва подтянутого мясом, Мирона.“

— Ишь, какой отъелся. Может он и съел. Моя обязанность — не верить. Опять, зачем крысе человека есть?“ —

Потом побежали люди. „Жирное, объевшееся вставало солнце. Тучными животами выпячивались тучи. — От неба до земли худоребый ветер“. — И была еще — тишина. Надька — „плоская, с зеленоватой кожей, с гнойными, вывернутыми ресницами“ — говорила Мирону:

— Ты, Мирон, не кажись. Очумел мужик, особенно ночью — согрешат, убьют... Ты худей лучше, худей.

— Не могу я худеть, — хрюпал Мирон. — Раз у меня кость такая. Виноват я? Раз худеть не могу. Я и то ем меньше, чтобы не попрекали. Омман один это, вода — не тело. Ты щупай.

— И то омман, разве такие телеса бывали. Я помню. А ведь не поверют — прирежут, не кажись лучше“.

Вскоре, когда пошли, все лошади передохли:
„Кожу с хомутов съели“.

„Раз Надька свернула с дороги и под песком нашла полуза сохшую кучу конского кала. Сцарапнула пальцем полуза сохшую корку, позвала Егора:

„С овсом... Иди...“

„Ночью Мирону пригрезился урожай. Желтый густой колос бежал под рукой, не давался в пальцы. Но вдруг колос ощетинился розоватыми усиками и пополз к горлу...—Здесь Мирон проснулся и почувствовал, что его ноги ощупывают: от икр к пахам и обратно. Он дернул ногой и крикнул:

„Кто здесь?

„Зазвенел песок. Кто-то отошел. Проснулась Надька.

„Брюхо давит.

„Щупают... Мясо щупают.

„Умру... Мне с конского... давит. В брюхе-то, как кирпичи с каменки каленые... И тошнит. Рвать не рвет, а тошнит комом в глотке. Тогда закопай.

„Выроют“.

Надька умерла.—Перед смертью Надька молила:— „Хлебушко-то тепленый на зубах липнет, а язык-то. Дай, Мирона, ей-богу не скажу. Только вот на один зубок, хмм, хи... кусочек. А потом помру, и не скажу все равно.“

„Деревня поднялась, двинулась.“

„Схоронишь?—спросил Фаддей, уходя.—Поодаль на земле сидел Егорка, узкоголовый, отставив тонкую губу под жестким желтым зубом.

„—Иди,—сказал ему Мирон.—Я схороню.— Егорка мотнул плечами, пошевелил рукой кол под коленом.

„Сказал:

„—Я... сам... Не трожь... Сам, говорю... Я на ней жениться хотел... Я схороню... Ступай. Иди.

„У кустов, как голодные собаки, сидели кругом мальчишки.

„Егорка махнул колом над головой и крикнул:

„—Пшли... ощерились... пшли...“

„Пока он отвертывался, Мирон сунул руку к Надьке за пазуху, нащупал там на теле какой-то жесткий маленький кусочек, выдернул и хотел спрятать в карман. Егорка увидел и, топоча колом, подошел ближе.

„—Бросай, Мирон, тебе говорю... Бросай... Мое...“

„Егорка махнул колом над головой Мирона. Тот отошел и бросил потемневший маленький крестик.

„Егорка колом подкинул его к своим ногам.

„—Уходи... мое... я схороню...—в лицо не смотрел, пальцы цепко лежали на узловатом колу.

„Мирон пошел, не оглядываясь. Мальчишки, отбегая, кричали:

„—Сожрет.—“

„Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце. Тучными животами выпячивались тучи.—Огненные земли. От неба до земли худоребный ветер“—

Заключение второе.

ОТКРЫТА

Уездным отделом народа в вполне оборудованная

— БАНЯ —

(бывшее духовное училище в саду)
для общественного пользования с пропускной способностью на 500 чел. в 8-м час. рабочий день:

Расписание бани:

Понедельник — детские дома города (бесплатно).

Вторник, пятница, суббота — мужские бани.

Среда, четверг — женские бани.

Плата за мытье:

для взрослых — 50 коп. зол.

для детей — 25 коп. зол.

УОТНАРОБРАЗ.

Сроки: Великий пост восьмого года мировой войны и гибели Европейской культуры — и шестой Великий пост Великой Русской Революции, — или иначе: март, весна, ледолом —

Место: место действия — Россия.

Герои: героев нет.

Пять лет русской революции, в России, Емельян Емельянович Разин, прожил в тесном городе, на тесной улице,

в тесном доме, где окно было заткнуто одеялом, где сырость наплодила на стенах географические карты невероятных материков и где железные трубы от печурок были подзорными трубами в вечность. Пять лет русской революции были для Емельяна Разина сплошной, моргасной, бесщельной, безметельной зимой. Емельян Емельянович Разин был: и Лоллием Львовичем Кронидово-Тензигольско-Калитиным, — и Иваном Александровичем, по прозвищу Калистратычем. — Потом Емельян Емельянович увидел метель: зубу, вырванному из челюсти, не стать снова в челюсть. Емельян Емельянович Разин узрел метель, — он по иному увидел прежние годы: Емельян Емельянович умел просиживать ночи над книгами, чтобы подмывать им, — он был секретарем уотнаробраза, — он умел — графически — доказывать, что закон надо обходить. —

И вот он вспомнил, что в России вымерли книги, журналы и газеты, — замолкли, перевелись как мамонты писатели, те, которым надо было подмигивать, — потом писатели, книги, журналы и газеты народились в Париже, Берлине, Константинополе, Пекине, Нью-Йорке, — и это было неверно: в России стало больше газет, чем было до революции: в Можае, в Коломне, в Краснококшайске, в Пугачеве, в Ленинске, в каждом уездном городе, где есть печатный станок, на желтой, синей, зелено-булавых бумагах, на оберточной, на афишной, даже на обоях, — а в волостях рукописные — были газеты, где не писатели — неизвестно кто — все — миллионы — писали о революции, о новой правде, о красной армии, о трудовой армии, об исполнках, советах, земотделах, отнаробах, завупрах, о посевкомах, профобрах, — где в каждой газетине были стихи о воле, земле и труде. Каждая газетина — миллионы газет — была куском поэзии, творимой неизвестно кем: в газетах писали все; кроме спецов-писателей, — крестьяне, рабочие, красноар-

мейцы, гимназисты, студенты, комсомольцы, учителя, агрономы, врачи, сапожники, слесаря, канторщики, девушки, бабы, старухи. Каждая газета—пестрая, зеленая, желтая, синяя, серая, на обоях—все равно была красная, как ком крови.—В России заглохли университеты.—И в каждой Коломне, Верее, Рузе, в каждом Пугачеве, Краснококшайске, Зарайске—в каждой волости—во всей России—в домах купцов, в старых клубах и банкирских конторах, в помещичьих усадьбах, в волисполкомах, в сельских школах—в каждой—в каждом—было—были: политпросветы, наробразы, пролеткульты, сексодкультуры, культпросветы, комсомолы, школы грамотности и политграмотности, театральные, музыкальные, живописные, литературные студии, клубы, театры, дома просвещения, избы-читальни,—где десятки тысяч людей, юноши и девушки, девки и парни, красноармейцы, бабы, старики, слесаря, учителя, агрономы—учили, учились, творчествовали, читали, писали, играли, устраивали спектакли, концерты, митинги, танцулыки. Емельян Емельянович был секретарем наробраза: он видел, увидел, как рождаются новые люди, мимо него проходили Иваны, Антоны, Сергеи, Марыи, Лизаветы, Катерины, они отрывались от сохи, от сошного быта, они учились, в головах их была величайшая неразбериха, где Карл Маркс женился на Лондоне,—почти все Иваны исчезали в Красную армию быть белогвардейцев, редкая Марья не ходила в больницу просить об aborte; выживали из Иванов и Марьев те, кто были сильны, Иваны проходили через комсомолы, советы и Красную армию,—Марыи, через женотделы,—и потом когда Иваны и Марыи появлялись вновь после плаваний и путешествий по миру и шли снова на землю (велика тяга к земле)—это были новые, джек-лондоновские люди.—

— Емельян Разин увидел метель в России,—и прежние пять лет

России он увидел—не сплошною, моргасной, и бесщельной, безметельной зимой,—а—метелью в ночи, в огнях, как свечи Яблочкова.—Но над Россией, когда вновь его вкинуло после Неаполя в старую челюсть тесного города,—над Россией шла весна, доходил Великий пост, дули ветры, шли облака, текли ручьи, бухнуло полднями солнце, как суглинок в суходолах.—И Емельян Разин увидел, как убога, как безмерно-нища Россия,—он услышал все дубасы российские и увидел одеяло в окне,—он увидел, что жена его еще донашивает малицу:—он не мог простить миру стоптанные башмаки его жены. Не всякому дано видеть, и иные, кто видит,—безумеют—

—Этот тесный город, куда приехал Разин, был рядом с Москвой, он не считался голодным. Дом напротив как запаленная лошадь, из которого давно уже ушли вместе с баражлом купцы,—за зиму потерял крышу. Направо и налево, через один дом в двух не ели хлеба и жили на картошке. Через дом слева жил паспортист с женой и дочерью—гимназисткой, который был паспортистом и при монархии, и при республике. Дочь-гимназистку звали Лизой, ей было пятнадцать лет, шел шестнадцатый год, она была как все гимназистки. А рядом в доме, в подвале, жил „сапожник Козлов из Москвы“—Иван Александрович, по прозвищу Калистратыч,—жил много лет с женой Дашей-поломойкой, детьми, шпандырем и самогонкой; на лоб, как подобает, он надевал ремешек, и было ему за сорок: ну, так вот, Калистратыч, не прогоняя даже жены, взял себе в любовницы Лизу, за хлеб, за полтора, что ли, пуда; Даша-поломойка раза два таскала всенародно Лизу за косы, тогда Калистратыч таскал—тоже всенародно—Дашу-поломойку, а мальчишки с улицы кидали во всех троих камнями.—Через дом справа жил телефонный надсмотрщик Калистрат Иванович Александров с женой, четырьмя детьми

и матерью; Калистрат Иванович получал паек и запирал паек на ключ, ничего не давая семье; сынишка—тоже электротехник, должно быть,—подделал ключ. Калистрат Иванович прогнал всех из дома и потребовал от жены браслетку, которую подарил женихом; жена из дома не пошла, а позвала милицию; Калистрат Иванович показал милиции, что семья его живет воровством; жена показала, что Калистрат Иванович ворует электрические катушки с телеграфа; дети показали, что отец не кормит их и каждую ночь истязает мать и жену; милиция рассудила мудро: ворованное отобрала, а им сказала, что—до первого разу, если кто из них еще пожалуется, тогда всех в холодную до суда и дела.—Кругом все—друг друга—друг у друга—обворовывали, обманывали, подсаживали, предавали, продавали. Приходила весна, и город был, в сущности, деревней безлошадных: все закоулки, пустыри, ограды вскапывались руками, все балдели в посевах капусты, свеклы, моркови—все изнемогали и завидовали друг другу, чтоб потом—по осени—приступить к поголовнейшему обворовыванию соседских огородов, друг друга.—Была весна, когда вернулся в город Емельян Емельянович,—он единственный в городе ездил за границу, он привез себе всяких нарядов, пальто, башмаки, пиджаки,—и к нему приходила торговка с базара, разыскала его, спросила:

— Ты, касатик, в немецкую сторону ездили?—ничего, привез? не отбирают? одежда там почем? Видишь, я к тебе с делом каким: как туда съездить, касатик?—я бы съездила, купила на обмен, как там заградиловки—ничего, проехать можно?—я ситчику купила б и мужу на одежду. Как туда ехать,—ничего?—с вокзала-то какого?

— Емельян

Емельянович Разин не выставлял окон в доме, в доме пахло зимой, аммиаком и копотью, и мухи жужжали, как в банке. Емельян Емельянович увидел метель,—Емельян

Емельянович физически не мог переносить стоптанных башмаков жены,—и для него очевиднейшим были уже те книги, над которыми он мог подмигивать раньше Лоллием Львовичем и которые хранили замшевые запахи барских рук.

— И Емельян Разин—метеликой—в одну ночь—как сумасшедший собрался и бежал из этого городка—куда глаза глядят—к чорту—от метели.

— Он оказался в Москве, на Средней Пресне, вместе с женой.

Заключение третье.—Фита предпоследняя

По Европе и по Азии уже столетия, как ходили индийские фокусники, гипнотизеры,—индийские маги и иоги. В России они чаще всего назывались Бен-Саидами. Они, Бен-Саиды, маги, глотали огонь, прокалывали себя иглами, жгли, у них на глазах у зрителей одна рука вырастала раза по полтора больше, чем вторая, на них клали двадцатипудовые камни и били камни молотками так, что летели из камней искры,—они, Бен-Саиды, усыпляли желающих из зрителей, и эти усыпленные, загипнотизированные выполняли во сне все, что вздумается почтенным зрителям: старухи пели и плясали, девушки каялись в грехах,—но Бен-Саид продолжал сеанс уже дальше, просил публику дать вещь или загадать, что должен сделать загипнотизированный, и спящий, при чем этого не знал даже и иог, делал то, что заказывали почтенные зрители. Эти индийские маги и иоги, Бен-Саиды в России—всегда были нищи, они выступали в передвижных цирках, в палатах, в пожарных депо, передвигаясь из одного города и местечка до другого—с двумя-тремя своими помощниками и несчастной женой, убежавшей от отца-буржуза,—редко в третьем классе поезда и часто пешком, по боль-

шакам. Но каждый раз, когда зрители после сеанса расходились по домам, в ночь,—многим из зрителей бывало одиноко от того непонятного и сверхъестественного, что есть в мире.—

— Мистер Роберт Смит, который научился уже читать по-русски, прочел афишу на заборе, в Москве:

ТАЙНЫ ИНДИЙСКОЙ МАГИИ
РАСКРОЕТ
ИНДИЙСКИЙ ИОГ БЕН-САИД
— В СВОИХ СЕАНСАХ.—

Мистер Смит пошел на этот сеанс. С ним вместе пошел Емельян Емельянович Разин, его учитель. В цирке было очень много народа. На арене стоял человек в сюртуке и лаковых ботинках, на столе около него горела керосинка и лежали снаряжения, рядом со столом горел костер, лежали молотки и двадцатипудовый камень, в лесенку были вставлены ножи, по которым Бен-Сайд должен ходить, в ящике валялосьбитое стекло. Бен-Сайд сказал вступительное слово, где приветствовал Советскую власть, борющуюся со мраком и косностью, сообщил,— что он, Бен-Сайд, совсем не Бен-Сайд и не индус,— а крестьянин Самарской губернии, Пугачевского уезда, трудовой сын республики и никогда в Индии не был, что он сейчас покажет опыты индийской магии и докажет, что это совсем не какая-либо таинственная сила, а только фокус, ловкость рук, тренировка и выносливость,— что раньше магией пользовались сильные мира, чтобы закаблять в темноте народ. Бен-Сайд и доказал многое из этого на деле, как глотать огонь, есть раскаленное железо, ходить по гвоздям, быть наковальней в „адской кузнице“,— но он, самарский сын трудовой республики, окончательно запутался в объяснении гипнозизма, хоть и гипнотизиро-

вал направо и налево, десятком, разохотившихся девиц. На этом сеанс и закончился, чтобы повториться завтра на площади, на Смоленском рынке,—чтобы рассеять мрак в народе.

Емельян Емельянович Разин был переводчиком мистера Смита. У подъезда цирка их ожидал автомобиль. Они поехали. Емельян Емельянович не покидал мистера Роберта Смита. Емельян Емельянович в своем европейском костюме, в круглых роговых очках был очень странен, он казался трансформатором, его коричневый костюм походил на ларчик, и думалось, что Емельян Емельянович может каждую минуту спрятать голову в воротник пиджака, за машишку, чтобы квакнуть оттуда по-лягушачьи. У подъезда дома мистера Смита, мистер Смит хотел было распрошаться с Емельяном Емельяновичем,—но этот позвонил первым и первым вошел в парадное. Лакей включил только одну лампочку, лестница, идущая к зимнему саду, едва осветилась. Мистер Смит попросил принести виски. Это была решающая ночь в жизни Роберта Смита. Разговор был незначителен. Мистер Смит чувствовал себя устало. Сельтерская была тепла.

Разговор велся о пустяках, и только четыре отрывка разговора следуют отметить. Говорили о России и власти советов. Мистер Смит, изучавший русский язык, в комбинации слов—власть советов—нашел филологический, словесный нонсенс: совет—значит пожелание, чаще хорошее, когда один другому советует поступить так, а не иначе, желает ему добра, советовать—это даже не приказывать,—и сталобыть „власть советов“—есть „власть пожеланий“, нонсенс.—Емельян Емельянович походил на лягушку в своих очках, он был очень неспокойен.—Он высказал мысль о том, что исторические эпохи меняются, что сейчас человечество переживает эпоху перелома, и перелом, главным образом, духовной культуры, морали;

люди старой эпохи, и он в том числе, должны погибнуть, но они—имеют же человеческое право дожить свой век по-прежнему и доживут его, конечно. Емельян Емельянович рассказал, что у его знакомого, бывшего генерала, сохранилась княжеская коллекция порнографических открыток, которая продаётся. Мистер Смит отказался от покупки. Затем, перед самым уходом, Емельян Емельянович рассказывал о быте, нравах и этнографических особенностях русских крестьян,—о том, что сейчас, весной, крестьянские девушки и парни, ночами на обрывах у рек и в лесах, устраивают игрища, моления языческим богам, как тысячу лет назад,—и он, Емельян Емельянович, пригласил мистера Смита завтра поехать за город посмотреть эти игрища,—Роберт Смит согласился.—Сейчас же после этого разговора Емельян Емельянович заспешил и ушел, спрятав голову в грудь пиджака. Мистер Смит сам отпер ему парадное,—была ясная апрельская ночь, уже за полночь, над домом напротив светил месяц, в последней четверти. Шаги Емельяна Емельяновича мелким эхом заглохли в проулке. Обыденный час сна прошел, и мистер Смит почувствовал, что ему не хочется спать, что он очень бодр, что ему надо пройтись перед сном. Мистер Смит прошел проулками, улицей Герцена—древней Никитской—к Кремлю. Улицы были пустынны, пахло навозом и весенней прелью, был едва приметный мороз. Звезды были четки и белы. Меркнул месяц в очень синем небе. Из-за деревьев Александровского сада Кремль выглянула русской Азией, глыбой, оставшейся от древности. От Кутафий-башни мистер Смит пошел Александровским садом, у Боровицких ворот заметил двух всадников в шапках как шлемы, один сидел на лошади, другой стоял опираясь на луку, лошади были маленькие и мшистые, сторожевые в шлемах, с пиками и винтовками—громоздки,—и опять подумал о русском древневековье. Тоскливо

перекликалисьочные сторожевые свистки. Мистер Смит повернулся обратно, шел переулками. Пели на дворах, в переулках петухи и лаяли собаки по-весеннему гулко и заунывно, как в Константинополе. Дом, где жил мистер Смит, безмолвствовал. Мистер Смит прошел в кабинет, свет месяца падал на стол и ковры,—и тогда Роберт Смит вдруг—не понял, а почувствовал,—что ключ к пониманию России и Революции Русской,—и к миру—найден. Показалось, что иог Бен-Сайд вошел в кабинет, и он, иог, крестьянин Самарской губернии, объяснивший тайны черной магии, как глотать огонь, ходить по гвоздям, отрезать себе палец, быть наковальней,—и не объяснивший тайн гипноза,—иог Бен-Сайд в сюртуке и лаковых ботинках,—и был ключем.

Мистер Смит записал в дневник,—с тем, чтобы записи эти потом обработать и послать в письме к брату:

„Сегодня я был на русском народном цирке. Завтра я поеду с мистером Разиным за город в лес смотреть народные русские игрища.—Вот, что такое Россия, коротко:—Разрушены семья, мораль, религия, труд, классовое сознание всех групп туземного населения, ибо борьба за существование, голодная смерть (а голодала вся Россия без исключения)—вне морали и заставляли быть аморальными. Производительность труда пала так, что производство единицы товара, равной, положим, по ценности грамму золота, обходится две единицы этого товара, т.е. два грамма золота;—и это вызвало взяточничество, воровство, обман, деморализацию нации, деклассирование общественных групп и катастрофическое обнищание страны, доведенное до людоедства. Крестьяне платили налоги в двадцать пять раз больше, чем до

революции. Надо не забывать, что Россия все годы революции вела жесточайшую гражданскую войну во всех концах государства. Все это примеры, которые не исчерпывают быта России, но которые являются факторами быта.— Казалось бы, нация, государство—погибли. Но вот еще один факт: ложь в России: я беру газеты (их не так мало, если принять во внимание те газеты, которые выходят в каждом уездном исполнкоме) и книги, и первое, что в них поражает—это игра отвлеченными, несуществующими в России понятиями—и я говорил с общественными деятелями, с буржуа, с рабочими—они тоже не видят и лгут: ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все, и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация, русская. Что это?— массовый психоз, болезнь, слепота? Эта ложь кажется мне явлением положительным. Я много думал о воле видеть и ставил ее в порядке воли хотеть: оказывается, есть иная воля—воля не видеть, когда воля хотеть противоставляется воле видеть. Россия живет волей хотеть и волей не видеть; эту ложь я считаю глубоко-положительным явлением, единственным в мире. Вопреки всему, наперекор всему, в крепостном праве, в людоедстве, в невероятных податях, в труде, который ведет всех к смерти,—не видя их, сектантская, подвижническая, азиатская Россия, изнывая в голоде, бунтах, людоедстве, смуте, разрухе—кричит миру, и Кремлем, и всеми своими лесами, степями и реками, областями, губерниями, уездами и волостями—

о чем кричит миру Россия, что хочет Россия? Сейчас я проходил мимо Кремля. Кремль всегда молчалив, ночами он утопает во мраке: русский Кремль стоит несколько столетий; сейчас же за Москвой, в десяти верстах от нее, за горами Воробьев, и за Рогожской заставой, начинаются леса, полные волков, лосей и медведей: за стеной в Кремле были люди, уверовавшие в Третий Интернационал, а у ворот стояли два сторожевых, в костюмах как древние скиты,— тот народ, который в большинстве неграмотен. Сегодня в цирке иог показывал, как делаются индийские фокусы, как они делаются,— он единственный в России—не лгал. Это решает все. Кто знает? две тысячи лет назад тринадцать чудаков из Иерусалима перекроили мир. Конечно, этому были и этические и экономические предпосылки— Я изучаю русский язык, и я открыл словесный нонсенс, имеющий исторический смысл: власть советов—власть пожеланий. В новой России женщина идет рядом с мужчиной, во всех делах, женщина... — “

В колониях можно было жить, отступая от житейского регламента. Мистер Смит не кончил записей в дневник, ибо у подъезда загудел автомобиль, потом второй. По лестнице к зимнему саду зашумели шаги. В дикой колонии, имя которой Россия, все же были прекрасные женщины, европейски-шикарные и азиатски-необузданые, и особенно очаровательные еще тем, что с ними не надо, нельзя было говорить, из-за разности языков. В кабинет мистера Смита вошли его соотечественник и две русские дамы.

— Мы сегодня веселимся,— сказал соотечественник,— мы были в ресторане, там познакомились с компанией

очаровательных дам и с новыми нашими спутницами ездили за город, к Владимирской губернии,—там в лесу водятся волки, мы пили коньяк. Вас не было дома. Сейчас мы будем встречать русский рассвет,—соотечественник понизил голос,—одна из этих дам принадлежит вам.

В концертном салоне заиграли на пианино. В ночной тишине было слышно, как в маленькой столовой накрывали стол. Англичане провели дам в уборную, пошли переодеваться. Женщин, конечно, как конфеты, можно выворачивать из платья. Старик лакей заботливо занавешивал окна, чтоб никто не видел с улицы, что делают колонизаторы. Было приказано никого не пускать —

Мистер Смит заснул уже на рассвете. Снов он не видел. Только перед тем, как проснуться, ему пригрезилась та страшная ночь,—та, когда он встретился в дверях спальни жены с братом своим Эдгаром.

Емельян Емельянович заходил утром к мистеру Смиту. Его не пустили. Он зашел через час и оставил записку, что заедет перед поездом. Дома эту ночь Емельян Емельянович не ночевал: сейчас же от мистера Смита он пошел на вокзал и ездил на Прозоровскую, рассвет там провел в лесу,—оттуда вернулся как раз к тому часу, когда заходил в первый раз утром. Перед поездом мистер Смит распорядился, чтоб подали автомобиль, но Емельян Емельянович настоял, чтоб пошли пешком; потом они наняли извозчика. На Прозоровскую они приехали, когда уже темнело. Дорогой—несколько раз—случайно—Емельян Емельянович спрашивал, захватил ли мистер бумажник. От полустанка они пошли мимо дач, лесной просекой, вышли на пустыри, в поле, за которым был лес. Мистер Смит шел впереди, высокий, в черном пальто, в кэпи. Было немного прохладно, и у обоих были подняты

воротники. Уже совсем стемнело. Шли они без дороги, и, когда подходили к лесу, Емельян Емельянович выстрелил сзади, из револьвера, в затылок Роберту Смиту.— Через час после убийства Емельян Емельянович был на квартире мистера Смита, в Москве, где спрашивал, дома ли мистер Смит?—и оставил ему записку, в которой сожалел о неудавшейся поездке.

Через два дня агенты русского уголовного розыска арестовали гражданина Разина, он был увезен. Через месяц на суде, где судили бандитов, Разин говорил в последнем своем слове:

— Я прошу меня расстрелять. Я все равно мертв. Я убил человека, потому что он был богат, а я не мог— физически, органически не мог видеть стоптанных ботинок жены. Я, должно быть, болен: весь мир, все, русская революция, отовсюду, от столов, из-под нар, из волчка на меня глядит черный кружок дула ружья, тысячи, миллионы, миллиарды дул—на меня, отовсюду. Я все равно мертв.

Гражданин Разин был расстрелян.

— Фиты из русской абевеги—нет, не может быть. Есть абевеги без фиты. Емельян Емельянович Разин—был и мистером Смитом—но и ижицы—нет. Я кончу повесть.

Богомать.

Я, Пильняк, помню день, выпавший мне в дни писания этой повести, весной, в России, в Коломне, у Николы-на-Посадьях, — и помню мои мысли в тот день. Сейчас я думаю о том, что эти мысли мои неисторичны, неверны: это ключ, отпирающий романтику в истории, позволивший мне крикнуть:

— Место — место действия нет. Россия, Европа, мир, братство.

— Герои — героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверие, культура, метели, грозы, образ богоматери. —

1) К соседям приехал из голодной стороны, — год тому назад она называлась хлебородной, — дворник. На Пасху он ходил в валенках, и ноги у него были, как у опоясенной лошади. Дворник был, как дворник: был очень молчалив, сидел, как подобает, на лавочке около дома и грелся на солнце, вместо того, чтобы подметать улицу. Никто на него, само-собою, не обращал внимания, только сосед раза два жаловался, что он темнеет, когда видит хлеб, мяса не ест совершенно, а картошки съедает количество невероятное. И вот он, дворник, третьего дня — завыл, и вчера его отвезли в сумасшедший дом: дворник пришел, здесь у нас, в какое-то нормальное, человеческое состояние и вспомнил, рассказал, что он — съел — там в хлебородной — свою жену.

Вот и все. Это голод.

О голоде говорить нечестно, бесстыдно, нехорошо. Голод — есть: го-лод, ужас, мерзость. Тот, кто пьет и жрет в свое удовольствие: конечно, участник, собутыльник, сопоставник того дворника, кой съел свою жену. Вся Россия вместе с голодной голодала, вся Россия стянула свои чашники, чтоб не ныло брюхо: недаром в России вместе с людоедством была — эпопея поэм нарождения нового, чертовщин, метелей, гроз, — в этих амплитудах та свеча Яблочкива, от которой рябило глаза миру.

2) Но в те дни я думал не об этом. Вот о чем.

Двести лет назад император Петр I, в дни, когда запад, северо-запад, Украина щетинились штыками шведов, на Донщине бунтовали казаки, в Заволжье — кал-

мыки, на Поволжье — татары, — когда по России шли голод, смута и смерть, — когда на двое кололась Россия, — когда на русских, мордовских, татарских, калмыцких костях бутился Санкт-Петербург — в ободранной, нищей, вшивой России (Россия много уже столетий вшивая и нищая), в Парадизе своем — дал указ император Петр I, чтоб брали с церкви колокола и лишили из тех колоколов пушки, дабы бить ими — и шведов, и разруху, и темень РИССИЙСКУЮ. —

Как ни ужасен был пьяный император Петр, — дни Петровской эпохи останутся в истории русской поэмы, — и глава этой поэмы о том, как переливались колокола на пушки (колокола церковные, старых церквей, многовековых, со слюдяными оконцами, с колокольнями, как шатры царей, — на пушки, чтоб развеивать смуту, муть и голод в России) — хорошая глава русской истории, как поэма. — И вот опять, шестой уже год, вновь кололась Россия на-двоем. Знал, Россия уйдет отсюда новой: я ведь вот видел того дворника, который съел свою жену, он не мог не сойти с ума, но мне не было страшно это, — я видел иное, я мерил иным масштабом. Новая горела свеча Яблочкива, от которой рябило в глазах, — шестой уже год. Знаю: все живое, как земля веснами, умирая, обновляется вновь и вновь.

3) Вот, вчера, третьего дня, неделю, месяц назад — и неделю и месяц вперед — по России — по Российской Федерации Советской Республике — от Балтики до Тихого Океана, от Белого моря до Черного, до Персии, до Алтая — творилась глава истории, мне — как петровские колокола. — Утром ко мне пришел Смоленский и сказал, что в мужском монастыре сегодня собирают серебро, золото, жемчуга и прочие драгоценности, чтоб менять их на хлеб голодным. Мы пошли. —

В старенькой церкви, вросшей в землю, с гулкими — днем — плитами пола и с ладонным запахом — строго — днем в дневном свете и без богослужения, — за окнами буйствовал весенний день, — здесь был строгий холодок, оставшийся от ночи. Мне — живописцу, — художнику — жить от дать до дать, от образа к образу. В иконостасе, у церковных врат, уже века, в потемневших серебряных ризах хранился образ Богоматери и видны были лишь лицо и руки и лицо ребенка на коленях. Все остальное было скрыто серебром: к серебру оправы я привык, к тому, что серебро залито воском и на сгибах чуть позеленело. —

— И это серебро с иконы сняли, и этот образ Богоматери без риз мне, отринувшемуся от бога, предстал иным, разительным, необычайным, в темных складках платья ожившей матери Господней. Матерь божья предстала не в парче серебряной, засаленная воском, а в нищем одеянии. Образ был написан много сотен лет назад: образ Богоматери создала Русь, душа народа, те безымянные иконописцы, которые раскиданы по Суздалям: Богомать — мать и защитница всех рождающих и скорбящих. Мне Богомать предстала — древнею и новою Россией, подлинною Русью, из веков растущую в веке, такою древнею, такою подлинной. Богомать предстала обнаженной, приближенной, пришла, приблизилась, склонилась, — была ключем для всей Руси — в защите всех скорбящих и рожденных, была ключем всех русских революций и бунтов. — Мне — художнику — Богомать, конечно, только символ. —

...А за монастырем, за монастырскими стенами, под кремлевским обрывом текла разлившаяся Москва-река, и шли поля с крестами сельских колоколен. И был весенний буйный день, как века, как Русь. Образ Богоматери — в темной церкви — звено и ключ поэмы. — В

сумерки ко мне пришел сосед, курил, и, между прочих разговоров, он сказал, что дворник в сумасшедшем доме — повесился. А ночью пришла первая в тот год гроза, гремела, рокотала, полыхала молниями, обдувала ветрами, терпкими запахами первых полевых цветов. Я сидел — следил за грозой — на паперти у Николы, — у Николы-на-Посадьях, где некогда молился перед Куликовым полем Дмитрий Донской. — Была воробышная ночь. Гроза была благословенна. —

— А ночью мне приснился сон. Я видел метель, мутный рассвет, Домберг, — то, как под Домбергом, толпой оборванцев шли наши эмигранты за Катринталь, в лес к взморью, — шли из бараков — пилить дрова, валить лес, чтобы есть впроголодь своим трудом: эти изгои. И там в лесу трудился, обливаясь потом, Лоллий Кронидов, протопоп Аввакум, Серафим Саровский, — во имя центrostремительных сил. Была страшная метель. Мутное, красное вставало солнце из России. —

— Ну, конечно:

— все это неверно, неисторично, все это только ключ, отпирающий романтику в истории. — Я, Пильняк, кончу повесть. —

— И идут:

июль,
август,
сентябрь —
годы —

— Конец.

...И где-то, за полярным кругом, в льдах, в夜里 на полгода бодрствует мистер Эдгар Смит. Льды выше мачт. И ночью и днем, ибо нет дней, на небе, над льдами

горит северное сияние, вспыхивают, бегут, взрываются синие, зеленоватые, белые столбы беззвучного огня. Льды, как горы, направо, налево, на восток, на запад (и восток, и запад, и север, и юг смешаны здесь) на сотни верст одни льды. Здесь мертвое, здесь нет жизни. Здесь северный полюс.—Уже много месяцев судно не встречало ни одного живого существа,—последний раз видели самоедов и среди них русского ссыльного, сосланного и закинутого сюда еще императорской властью,—этот русский ничего не знал о русской революции. Уже много месяцев, как Эдгар Смит ничего не знает о том, что делается в мире, и телеграфист с погибшего радио, ставший журналистом, спит двадцать часов в сутки, в безделии, ибо вся жизнь стала. Но жизнь капитана Эдгара Смита идет по строжайшему английскому регламенту: так же, как в Англии, в семь обед,—и безразлично, в семь дня или ночи, ибо все время ночь и нельзя спать, как телеграфист. Перед обедом приходит стюарт, говорит меню и спрашивает о винах. Все судно промерзло, сплошная льдышка. После обеда, после сигары, Эдгар Смит поднимается на палубу, в полярный мороз: над головой безмолвствует, горит северное сияние, выкидываясь с земного шара в межпланетное пространство. Мистер Смит гуляет по палубе. Он бодр.—До утреннего завтрака в четверть первого, перед сном в постели, мистер Смит думает, вспоминает: все уже прочитано. Капитан Смит редко уже думает об Европе, о революциях и войнах. Он часто вспоминает о детстве и много думает—о женщинах: он знает, что в немногом, что отпущено человеку на тот недлинный его путь, который вечность ограничивает рождением и смертью,—самое прекрасное, самое необыкновенное, что надо боготворить,—величайшая тайна—женщина, любовница, мать: изредка он вспоминает ту страшную, осклизлую ночь, когда его брат Роберт застал

его с миссис Елизавет;—он знает, что единственное в мире—чистота. Все же иногда он думает не о человеке, а о человечестве, и ему кажется, что в этой неразрешимой коллизии нельзя жертвовать человеком, и единственны революции истинны,—это те, где здравствует дух. Мир капитана Смита ограничен: вчера на собаках уехали матросы, взбунтовавшись, в надежде пробраться на юг, на Новую Землю,—капитан Смит знает, что они погибли.—Приходит стюарт, говорит об обеде. Капитан закаляет коняку не больше, чем следует. Сигара после обеда дымна и медленна. И там на палубе безмолвствует мороз, воздух так редок и холден, что трудно дышать, и горит, горит в абсолютном безмолвии сияние, выкидывая земную энергию в межпланетную пустоту.

Коломна, Никола-на-Посадьях,
Красная горка—Петров день 1922 г.

„SPERANZA“

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши одна над другой: чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербург с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтобы итти, нести грузы — на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,—
и кажется, что борт корабельный стал им их землей,
точно борт корабельный может быть землей; но матросы
же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты
и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют
до спардэка,—когда корабль мечется в волнах овощинкою
в кипятке,—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только
он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого
закачается в глазах горизонт, единственное некачаю-
щееся,—тогда его стончит в морской болезни, нехорошей,

мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях,— потому ли только, что это их будни? — и матросы всегда дальновзорки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят — о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что видели они на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира,— и матросы знают, что земной шар — даже не шар, а шаришко и очень тесный шаришко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей, матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить,—матросы видели, как люди молятся и Чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнингдрэссах, и в юбках мужчины, и голые с повязкой на чреслах и без повязки на них,— как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное,— матросы помнили, как всюду бьют людей,— и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой,— и прекраснейшее в мире— любовь—у матросов была смрадна—негритянская, индейская, китайская любовь,— как смраден портовый публичный дом в шуме, гаме иочных красных фонарях. И на кубрике,— и в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляет за мачты, и в ночи под Полярной звездой на кладбище европейских вод,— матросы вспоминают землю, ту, что „на берегу“. Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человечьими породами

и любовями; их мечты строятся над всем миром.— А на кубрике, полярною ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили — темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чащ в безбрежности и — если штиль — горят, горят на небесной корке — звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшина в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота? — не матросам же! — А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст, — и только на корме торчат скорченные, черные тени матросов, в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды. — Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места. — Тесен мир.

И — ночь.

Имя кораблю — каботажному, семи - тысяч - тоннному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все каботажные корабли, сохранившие в своих обычаях столетия рабских корабельных правил о мордобое стюарда и капитана, расчетов в каждом порте, аглицких морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой) — имя кораблю: — „Speranza“, что ли.

И ночь. Грунты груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть кажется не водою, а гутаперчью, нет горизонтов,— там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардэка; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля — вахтенный, — им двоим не

спать. На сотни метров вниз, на тысячи километров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь — безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на кубрике за ларем запасного руля на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью, — француз, англичанин и эстонец — спит в рубке у спардэка радио-телеграфист — Нынче утром китаец-кочегар пел на носу странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опий; — потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда прошли склянку, он заявил матросам и капитану, что он, рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет идти к котлам, не хочет работать, он устал, — и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардэка в море, когда капитан хотел его побить, он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, пырнулся, как хорошие пловцы головою вниз, и больше уже не выплывал из воды —

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антэннах, — но радио-телеграфист спит у себя в рубке, — мирным сном. — А, если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский под-король стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе франка и счел радио-аппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов, — о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить, — как политикиствуют политики, — как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном,

в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире, засевших в России в Московском кремле, где на азиатской башне часы отбивают Интернационалом, в азиатской части города, — — впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главно и значимо то, что есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека, огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него, — и сколько есть еще сил, не познанных человеком? — и что человек знает твердо? — ведь утро придет огромным огненным шаром из воды и день уйдет этим шаром в воду, — и те, кто плавал здесь сотни лет назад, нибелунги, бритты и испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной, — они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хоть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям — ужели они знали такое, что не знаем мы? — — Но вот гудят антэны уже не в ветре, плачет приемник в радио-будке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На кубрике, у запасного рулевого ларя, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что, если сгоря ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой и огни трубок, зола на ветре, летят хвостом кометы в море, освещая руки, матросы тесно сидят, скрывшись от ветра. Нос

и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман сумрачен и тихий человек, мечтатель, саженный ростом.

— Ты выпил, что ли, боцман?

— Нет, я не пил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вются ястреба,—они у них священные. Так эти ястреба съедают мертвцев в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут, — я глядел в эту пропасть — дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего, — не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы — дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане — сволочи, байстроики, их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов подряд и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофеем или чаем, пот валит, — а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом, — и — чтобы бегали с тюками по сходням рысцой с бананов, и молча чтоб, — а если зазевашь или слово — сейчас резиновым жгутом вдоль спины, значит. Мы было собирали им помочь, — так нас, значит, прямым манером в береговую контору на божий суд, — и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит не сладко... А бабы — ничего, после работы тут же вымываются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, щалashi, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним

туда без пропуска не попадешь... И платят англичане бабам — шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок — за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрепье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груды волн трут корабельный борт, в стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побежать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки, каюты, склады, — чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и — чтоб корабль сначала медленно, кормой иль носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть, — сначала медленно, потом спешно, — чтоб потом — там под водой, в темнеющей ко дну мути, ему, кораблю, валиться в муть ко дну по эллиптическим кругам, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом — спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, раскиданных волнами на километр друг от друга, — а кроме них — безбрежность океана и чаша неба, ставшую над ним...

Боцман говорит вслух своим мыслям:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие —

Потом матросы с кубрика идут спать, в трюм. Француз — третий стюард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос, в „рум“, где на подвесных кроватях спят ирландец — второй стюард, негр — кок и помощник повара — еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды, выполнявший обязанности женщин для чиф-стюарда. — Матросский запах и запах матросских кают — он крепко, навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой и — морем, невеселый запах, едкий, как эссенция, такой, в котором вся матросская

жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцом, чтоб не воняла, когда гниет. — В ноз-рум было темно, француз влез в свою койку, скипидарящий запах ему был привычен, больно укусила блоха, константинопольская, потомок тех, которых король набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок — негр много уже лет ходил по морям на кораблях, развесивая по утрам овес для порича, соленую баранину для бекена, варенье из апельсинных корок, у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького, — он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса. — Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой волей — в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул; перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман, — о России, как часто и много думали об этой стране матросы, — он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков, — но это ему было не важно, — он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни, — и о том, как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев, — и он старался представить себе — как там хорошо... Потом он заснул, в хороших мыслях о прекрасной жизни. — А на кубрике боцман вспоминал свою Псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную бесконечно-звездную — ночь, и мамины сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову, — он, боцман, сам уже за

полдень своей жизни, семнадцать лет не был на родине, не знал ничего о своих, — живы ли? — он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством, — но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился тем красным паспортом, что Шварц выдал ему в Лондоне, — пусть этот паспорт ничего, кроме горя, не несет во всех странах, кроме России! — он знал, что он едет домой и там — дома — он проедет в Москву, в Московский кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И Московский кремль ему казался таким же прекрасным, как мамины сказки и как ласка корявой в мозолях руки отца —

А над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное — такое огромное, какое бывает только на морях — встает из воды солнце, красит красным свинцовые губы волн, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них — дельфинам. — Тогда вахтенный будит команду, толкая в бок и обращаясь по-английски:

— Джентльмены!

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чистое место в мире — палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко въелись во все; канаты много потрудились, и много на них вылито дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана, в растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплыvший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах, — такой покойный, что, даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта, — и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это, должно быть, слышно за несколько узлов, крича, он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская

ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корытцами вроде тех, в которых кормят свинят, идут чередой за брэк-фестом на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытцев матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках, гологрудые, с засученными рукавами, в кэпках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах,— во всяческом отребье, которое им оставили порты и не истлило море... впрочем, в порту, на берегу, где они получат за весь рейс сразу, они наряжаются франтами —

И в кухне от стюарда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция — на кубрике никто не знает: и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине — на его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы: — где-то там — революция! Боцман, уже стариk, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе, — он только что собирался закурить свою трубку, — бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладоней других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в Порт-Петрограде, поет Интернационал, и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы. — Тогда отборнейшей русской матершиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Стеерва! байстрюк! — кричит с нижней палубы чиф-стюард еврейскому юноше из Яффы, — кто будет мыть тарелки капитану?

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек-чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок, — в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду — не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом, — он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское, каботажное, горькое судно „Speranza“, избродившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сидни, — режет и режет воду —

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле — Там, в туманной мути вод первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся муты вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланг морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, друг друга бреют, потому что на землю, „на берег“ надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков — о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу — на земле. — Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик, — тридцать дней морского перехода, тридцать дней пустыни вод, и бурь, и штилей, и закатов, и восходов — скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами — чтоб не мешали отливы и приливы, — под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные,

ждущие прилива, стоящие на очередь ко крану. Ночью не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе щуплый, в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого и белыми шарами на берегу горят фонари.

Днем матросы ходили в береговую контору—перенаниматься, перекабаляться вновь на новый путь в моря; двоих скинул „с борта“ капитан и взял двоих новых,— они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле—коль не поистине, то хоть стараться—мести чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с овсом, кран вытряхивал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам: и, когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пыльща шла чернейшей тучей—в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм,—в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое же дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары—в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти—громел летящий уголь, эвенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на

кораблях, гудели корабли, выли сирены таможенных катеров,—в порте, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий, созданное машиной против—против полевого цветочка.—Потом, в пять часов, когда солнце пошло к западу,—прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кренах, в клетках над кораблями, вдруг потянулся ветерок и колыхнул пелену пыли—к городу, на землю,—незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих—тоже к городу, на землю—на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам——тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках—зеленой и мутной—выгляднули нищета, тщета мирская, одиночество——

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэлсе, один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальш-борта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан в двухместном автомобиле, с очень элегантной лэди,—капитан переоделся в ивнинг-дрэсс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стюард. На спардэке запел песню вахтенный,—и песня оказалась русская, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земляк, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда!—А ты?

— А я, видишь, Новороссийский!.. Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы, значит, со вчерашнего дня не ели. Выходит голодно не жрамши...

Вахтенный в мэс-рум толкует со стюардом; стюард в крахмаленной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город, он спешит и он кричит сердито:

— Дайте этим байстрюкам, что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с баиной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюарды—сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на болотах, поднимается туман и холодаеет, вода за бортом—неподвижна, зелена,—потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на „Рюрике“ очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, значит, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят—ничего не поймешь, что бормочут,—ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту, смотрим—стоит, а флаг уж поднят,—мы опять в лес... А жамкать охота—брюхо так и ходит, ну, решили—где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки чтобы шкуру продать, и, значит, нашли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом, на сто пять дней в море, значит, в Австралию, в рабы, значит, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла,—зато научились и по-шведски, и по-английски, гарьким опытом... Стал себя выдавать за шведа. И исхо-

дил я весь свет, и выходит, куда не кинь—везде клин и кругом шешнадцать. Лучше всего жить рабочему классу в Австралии, там законы правильные и дают землю задаром,—я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал сказываться что не швед я, все-таки, а русский,—а тут, значит, у нас, в России произошла революция,—и пошло с двух концов: англичане меня погнали, к бабе в штаны, как, значит, русского, всех русских гнать стали,—а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения... Бросил бабу, англичанка она, владения бросил, стал на корабль, ехать домой, значит,—да не тут-то было:—четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, вроде как она провалилась под землю,—не вплавь же к ней плыть, значит... Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня изловили англичане; паспорта, конечно, не про нас писаны,—благодетель говорит:—„паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве“... „Так, говорю,—а какого же это царя посольство? Это, значит, врут, что Николай помер?—Мне, говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящий, только тогда ты, господин высокай, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц—совецкий—задаром да еще на работу ставит, да к тому же и байстрюк ты, высокой, потому сам трудящий, а стоишь против рабочих, значит...“ Ну, он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании английского закона.

Уже опеплился вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие...

...В городе, за городом, над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах, в сторонке в каменном доме музик-холл, на углах паблик-хаузы, где стоя пьют пиво, уиски и джин. Огни реклам — сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные — сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные панталоны, — потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и — придушенная — из музик-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков паблик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стэками в руках, в крахмалах с чужой шеи. Над улицами, над площадью — темное небо; которое там за пляжем сливаются с морскою мглою. — —

Матросы со „Speranza“ — четверо — франты — много пенсов оставили в паблик-хаузе за стаут, сидели в музик-холле, отдыхая, куря и хохоча. Потом они пытали счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японский магазин, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику — еврею, продавали ему кокаин и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество, — как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили уиски и стаут, и платили за них собственными шиллингами, читали „Дейли Хэральд“ и купили на артельные деньги письмовник, точно у них будет досуг и смысл писать любов-

ные письма женщинам и деловые, с приглашением на файф-о-клок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда над морем и миром стала луна, похожая на китайца, — по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка, у одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Плииз...

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, жак он был неимоверно пьян и сорил шиллингами: он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал завсегдатаем:

— Пожалуйста, к нам потанцевать мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не было, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о революциях, о России, о родине и материях... Девушки были очень покойны, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок. — — Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танц-зале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности, скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице; у порога по-прежнему сидела негритянка, и она опять прошептала:

— Плииз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки:

негритянка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищи!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

...На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-рум горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте. На спардэке—вахтенный, и вахтенному издалека слышны четкие по камню и железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стювард и мальчик из Яффы, вочных туфлях, таскают мягкие тюки; со спардэка видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает, и вновь бежит стювард в мэс-рум:—это контрабандисты, это контрабандистам продал стювард что-то, привезенное из Азии... Стювард—в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо—грека—сосредоточенно и бодро... Вспыхнула масленка в кухне,—кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стювард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляется? Надо спать.

Матрос обляял стюварда по-матерному—по-русски,—и добавил:

— Генри очень болен, лежит с утра, тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стювард?

Стювард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам,—на столе чадила масленка;

дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил:

— Где стювард?

Стювард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умение, жалкие, всегда унизительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня... Мне бы лимона... Я совсем нездоров!.. Мне кусочек...

— Нету лимона.

— Врешь, стювард, ведь покупал для моря,—сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри пьяница.

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона!—Стювард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметили, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь,—придется тогда шить тебе мешок да в море рыбам...

Другой рассказал к слушаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные ребята,—а как выйдем в море, и качки нет никакой, а они дохнут как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки

шить,—в одну ночь двадцать два мешка сшил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь—и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стюард жевал чунгом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

— Нету лимона!—Тогда, пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард, заложив чунгом за щеку, с масленкой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, больную глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою, черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чунгом, эту бесконечную жвачку моряков. В ноз-рум вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкали к константинопольским блохам. Было темно и душно. Они видели, что мальчик-поваренок долго рылся в своем углу, переодевался и потом тихо ушел из каюты; они не видели, что мальчик осторожно пробирался по палубе к рубке,—если б осветить неожиданно лицо мальчика электрическим фонариком, то можно было бы увидеть, что оно полно боли и страдания; мальчик прошел в рубку, там, через внутреннюю дверь в кухню, он прошептал:

— Я здесь, стюард...

Стюард оторвался от своих мыслей, от чунгома, черная голова поднялась от огня, он взглянул в темный угол мечтательно и нежно. Свет в кухне погас.

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостице стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтоб уйти из доков

с рассветным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень черно, как должно быть пред рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, разъедая все, заплескалась по палубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром.

... И снова корабль, семитысячтонный, каботажный, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальш-бортам углем,—идет в море. Он проходит Паде-Калэ, Ламанш, идет в Северное море—колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплаваний, где норманны и бриты пошли впервые строить европейское благополучие и мир. И Немецкое море—к вечеру—встретило „Speranz'y“ штормом.

На корме, застяясь от ветра, стоят матросы. Один говорит:

— Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер—как свинец. Вода хлещет за фальш-бортами, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть, и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековые, совсем—совсем—не изжило его, оно водой, как кровь, кровью, как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на—даже на морях!.. И эти могилы—не застят ли они подлинную жизнь— многими своими жутями, одиноко-человеческими

и промозглыми—? и не она ли—эта жуть—страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря „мы идем на берег“, подчеркивают водяной их дом,—но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно—? И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад—? И вода, и небо, и ветер— как свинец. И корабль—скорлупкой в них. Пустыня кругом—пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплющенный мяч,—и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью—буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная Звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, пенятся, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо,—ветер рвет пену, и она тысячей шланг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упервшись, дует, плюет остервенело, в одну точку, точно хочет сдуть корабль к чорту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок.—И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля, возникает: душа, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой — каждой своей стальной частью — столковывается с морем, с морским чортом, чтоб выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя—их и их веши; по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая

над водой, вместе с тросами исчезая в воду... На нижней палубе под спардэком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вёртится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде, над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами—ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бегает от матросов, толкаясь у фальш-бортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям?—Капитан склонен над компасом:—Северное море— бурное море, много гибнет на нем кораблей,—кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползает по капитанскому мостику,—грешат волны, свистит в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет, все,—и к вою бури—над ней гремит— материшина помощника капитана, грандиозная материшина, в бога и в гроб.—Кто вспомнит о плавающих по морям?—По палубам, по железнным лестницам, на носу, на корме, в обсервационной бочке давно измокшие до нитки, без сна, пророгшие, строгие и спокойные до предела—ибо иначе смерть!—матросы.——Кто вспомнит о плавающих по морям?—Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то-и-дело становятся полом, где все завинчено, кроме людей на подвесных кроватях—двоих, курят трубки.

— И ты пойми только, значить, без денег... Значить, такие склады, продкомы то-есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропинах и у вечных льдов—идут корабли. По морям и океанам—идут бури, ночи, дни, месяцы, годы.

Море же—это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него—чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей—матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой—грузятся корабли, чтоб итти, нести грузы—на Острова Зеленого Мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море,—и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,—
и кажется, что борт корабельный стал им их землей,
точно борт корабельный может быть землей; но матросы
же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и
людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до
спардэка,—когда корабль мечется в волнах овощинкою в
кипятке,—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только
он неподвижен и тверд как земля, и плохо тому, у кого
закачается в глазах горизонт, единственное некачаю-
щееся,—тогда его стошнит в морской болезни нехорошей,
мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят гово-
рить о море, о морских своих путях и делах,—потому ли
только, что это их будни?—„Speranza“—это значит:—
Надежда,—и символ надежды:—якорь, тот, которым
матросы в морских безбрежностях цепляются за единствен-
ную землю —за доныя морей.—Матросы всегда дальноворки.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
При дверях	7
Мать - мачеха	39
„Speranza“	161

СОДЕЖДИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

При дверях появилась в печати: 1) во временнике Наркомпроса „Художественное слово“, Москва 1920 г; 2) в сборнике „Смертельное манит“; 3) отдельной книжечкой в Берлине, в из-ве „Огоньки“, 1922 г. (под заглавием „Метелинка“).

Мать-мачеха появилась в печати: 1) в альманахе „Круг“ № 1, Москва 1923, под заглавием „Третья столица“; 2) „Третьей же столицей“ вышла в сборнике рассказов, Никола-на-Посадьях, к-во „Круг“, Москва 1923 г.

Speranza—в журн. „Красная Новь“, ноябрь 1923 г.

АУДИО САКСЕРІФАЦІОНА

автентичні пам'ятки та Історія відомих художників
представлена в Світі фарб Доводи багатогранних
мистик та мандрівників, висловлюється в ученнях зондажів
("Філософські висновки" 1901) та 1901 ("Планети")
і європейських письменників та художників Міхаїла
Леонтовича, Бориса Григор'єва, письменника доктора Михаїла
Бакланова, письменника-художника Ольги Форсман
та інші. В 1901 році вийшов роман "Лінії" письменника
Василя Симонова, який проходить під назвою "Філософські
висновки" 1901, яким писаний, зокрема в його книзі

КНИГИ БОР. ПИЛЬНЯКА

Том I. — Голий год (роман).

Том III. — Рассказы (1918 — 1923).



049016
5/88

АЛМАЗЫ ДОЛГОВА

(текст) А.Д.Долгов. I. изд.
(текст - 810) Издательство. III изд.

